

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

# ANNALS

*of Mathematics and Physics*



## Annotation

Знаменитый роман классика современной бразильской литературы Жоржи Амаду.

В основе романа жизнь беспризорных, бездомных, но исключительно талантливых детей штата Баия. Они ищут свое место в жестокой реальности. По разному складываются личные судьбы маленьких „отверженных“.

Роман написан удивительно прозрачным, красочным, лирическим языком.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся литературой и культурой Бразилии.

- 
- [Капитаны песка](#)
    - [Письма в редакцию](#)
    - [Под луной, в заброшенном пакгаузе](#)
      - [Пакгауз](#)
      - [Ночь «капитанов»](#)
      - [На трамвайной остановке](#)
      - [Огни карусели](#)
      - [На причалах](#)
      - [Приключения Огуна](#)
      - [Господь улыбается как негритенок](#)
      - [Семья](#)
      - [Утро — как на картинке](#)
      - [Оспа](#)
      - [Судьба](#)
    - [В твоих глазах — покой баианской ночи](#)
      - [Сирота](#)
      - [Дора, мать](#)
      - [Дора, сестра и невеста](#)
      - [Колония](#)
      - [Сиротский приют](#)
      - [Тихая ночь](#)
      - [Дора, жена](#)
      - [Звезда с золотой гривой](#)



# Капитаны песка

## Письма в редакцию

### *Дети — грабители*

Разнузданные выходки «Капитанов песка» — дети, промышляющие грабежом, держат в страхе весь город — необходимо безотлагательное вмешательство Инспекции по делам несовершеннолетних и начальника полиции — вчера произошел еще один налет.

Наша газета, неизменно стоящая на страже законных прав граждан Баии, уже неоднократно сообщала о преступной деятельности «Капитанов песка», как именуют себя члены шайки, терроризирующей весь город. Эти подростки, в столь юном возрасте вступившие на мрачную стезю порока, не имеют постоянного местожительства, — по крайней мере, установить его не удалось, как не удалось и выяснить, где они прячут награбленное. В последнее время налеты происходят ежедневно, и это требует немедленного вмешательства Инспекции по делам несовершеннолетних и Управления полиции.

Как стало известно, численность банды превышает сто человек в возрасте от 8 до 16 лет. Все это дети, ставшие на преступный путь оттого, что их родители, позабыв о своем христианском долге, не занимались их воспитанием. Малолетние преступники называют себя «Капитаны песка», потому что избрали своей штаб-квартирой песчаные отмели баиянского порта. Руководит ими четырнадцатилетний подросток, пользующийся самой дурной славой: за ним числятся не только грабежи, но и драки, повлекшие за собой тяжкие телесные повреждения. К сожалению, выяснить личность главаря пока не удалось.

Необходимо срочное вмешательство Инспекции по делам несовершеннолетних и городской полиции для того, чтобы преступная деятельность банды, нарушающая покой жителей нашего города, была пресечена, а злоумышленники — отправлены в исправительные колонии или тюрьмы. Ниже мы помещаем репортаж о вчерашнем налете, жертвой

которого стал почтенный коммерсант: ущерб, нанесенный его дому, превышает миллион рейсов. Кроме того, при попытке задержать главаря шайки малолетних преступников был ранен садовник.

### ***В доме комендатора<sup>1</sup> Жозе Феррейры***

В центре Корредор-да-Витория, одного из фешенебельных кварталов нашего города, расположен особняк комендатора Жозе Феррейры, крупнейшего и пользующегося наибольшим доверием коммерсанта Баии. Его магазин помещается на улице Португалии. Выстроенный в колониальном стиле особняк, окруженный пышным садом, невольно привлекает к себе внимание и радует глаз. Вчера вечером дом Жозе Феррейры — эта обитель мира, покоя и честного труда подверглась налету «Капитанов песка» и в течение целого часа была объята неопишным смятением.

В три часа дня, когда город изнемогал от зноя, садовник Рамиро заметил нескольких оборванных подростков, которые вертелись у ворот, и отогнал непрошенных гостей, после чего вернулся к выполнению своих обязанностей. Очень скоро начался

### ***Налет***

Минут через пять Рамиро услышал доносившиеся из дома громкие крики — так могли кричать только люди, охваченные смертельным ужасом. Вооружившись серпом, Рамиро вбежал в дом, из окон которого «как черти» (по его собственному выражению) уже выскакивали мальчишки с украденными из столовой вещами. Горничная, истошно крича, хлопотала возле супруги комендатора, лишившейся чувств от вполне понятного и простительного испуга. Рамиро поспешил в сад, где и произошла

### ***Драка***

В саду же в это самое время одиннадцатилетний внук комендатора — прелестный Раул Феррейра, приехавший погостить к бабушке, — разговаривал с одним из злоумышленников, оказавшимся главарем шайки (это удалось установить потому, что на лице преступника имелся шрам). Невинный ребенок, не подозревая ничего дурного, весело беседовал со злодеем, в то время как шайка грабила его деда. Садовник бросился на грабителя, никак не ожидая, что тот окажет ему такое сопротивление и проявит столь незаурядную силу и ловкость. Схватив его, Рамиро тотчас получил удар ножом в плечо, потом в руку и вынужден был отпустить преступника.

Полиция была немедленно уведомлена о случившемся, однако до настоящего времени не смогла напасть на след шайки. Комендатор сообщил нашему репортеру, что понесенный им ущерб превышает миллион реисов, поскольку одни только часы, похищенные у его супруги, стоят 900 крузейро.

### ***Необходимы срочные меры***

Обитатели аристократического квартала Корредор-да-Витория пребывают в сильнейшей тревоге, опасаясь стать новыми жертвами бандитов, поскольку налет на особняк комендатора Жозе Феррейры — далеко не первое их преступление. Необходимо принять срочные меры для того, чтобы негодяи понесли примерное наказание, а покой самых видных семей Баии больше не нарушался. Мы надеемся, что начальник полиции и инспектор по делам несовершеннолетних сумеют обуздать малолетних, но многоопытных преступников.

#### **«Устами младенца...»**

Наш корреспондент побеседовал также и с Раулем Феррейрой. Как уже упоминалось, ему одиннадцать лет и он — один из лучших учеников коллежа Антонио Виейры. Раул выказал завидное мужество и сообщил нам о своем разговоре с главарем шайки следующее:

— Он сказал, что я — дурачок и понятия не имею о том, какие бывают интересные игры. А когда я сказал, что у меня есть велосипед и много разных игрушек, он засмеялся и ответил, что у него зато есть улица и порт. Он мне понравился, он прямо как из фильма: помните того мальчика, который убегает из дому на поиски приключений?

Его слова заставили нас задуматься над такой сложной и деликатной проблемой, как пагубное воздействие кинематографа на неокрепшие души. Эта проблема также заслуживает внимания господина инспектора по делам несовершеннолетних, и мы к ней собираемся вернуться еще раз.

*(Репортаж, опубликованный в газете «Жорнал да Тарде» под рубрикой «полицейская хроника» вместе с фотографиями, изображающими особняк Жозе Феррейры и самого комендатора во время церемонии награждения его орденом.)*

### **Письмо секретаря начальника полиции в редакцию газеты «Жорнал да Тарде»**

Уважаемый г-н редактор!

В связи с тем, что вчера в вечернем выпуске Вашей газеты были помещены материалы, касающиеся преступной деятельности шайки «Капитаны песка», а также налета, совершенного ею на дом комендатора Жозе Феррейры, начальник полиции спешит уведомить Вас, что решение этой проблемы зависит в первую очередь от Инспекции по делам несовершеннолетних, а полиция может предпринять какие бы то ни было шаги лишь после того, как к ней обратятся из Инспекции. Тем не менее будут незамедлительно приняты все меры, чтобы исключить в дальнейшем подобные происшествия и чтобы виновники случившегося были выявлены, арестованы и понесли заслуженную кару.

Считаем нужным, однако, заявить со всей прямотой, что



полиция не заслужила ни малейшего упрека: она не предпринимала достаточно действенных мер, так как не получила разрешения Инспекции по делам несовершеннолетних.

С уважением

*Секретарь начальника полиции.*

*(Письмо, напечатанное на первой странице «Жорнал да Тарде» вместе с фотографией начальника полиции и пространными похвалами по его адресу.)*

**Письмо инспектора по делам несовершеннолетних  
в редакцию газеты «Жорнал да Тарде»**

Его превосходительству г-ну главному редактору г.  
Сальвадор, штат Баия

Дорогой земляк!

Просматривая на досуге, который лишь изредка предоставляют мне многообразные и многочисленные обязанности, сопряженные с выполнением моей труднейшей миссии, Вашу замечательную газету, я обратил внимание на письмо неутомимого начальника городской полиции, где он излагает мотивы, по которым правоохранительные органы по сию пору не смогли усилить столь необходимую борьбу с малолетними преступниками, терроризирующими наш город. Господин начальник полиции заявляет, будто не получал от Инспекции по делам несовершеннолетних надлежащих распоряжений, долженствовавших побудить его к принятию более активных мер по отношению к малолетним преступникам. Ни в коей мере не желая хоть как-то бросить тень на плодотворную деятельность городской полиции, я тем не менее обязан в интересах истины — истины, которая, подобно путеводному маяку, освещает весь мой жизненный путь, — заявить, что не могу признать эти доводы убедительными. В компетенцию Инспекции не входит розыск малолетних

преступников, мы обязаны лишь определить, в каком именно исправительном заведении будут они отбывать срок наказания, и назначить представителя Инспекции для присутствия на суде, где будет рассматриваться возбужденное против них дело. Повторяю, в круг наших прерогатив не входят розыск и задержание малолетних преступников: Инспекция занимается их последующей судьбой. Достоуважаемый господин начальник полиции может быть уверен, что долг свой я и впредь буду исполнять так же неукоснительно, как и на протяжении всех пятидесяти лет моей беспорочной службы.

За последние месяцы я направил в исправительные колонии значительное число несовершеннолетних, которые преступили закон или были оставлены родителями на произвол судьбы, и не моя вина, что они бегут оттуда, что предпочитают отказаться от честного труда, что покидают заведения, где их пытаются приобщать к честной и созидательной жизни и окружают заботой и вниманием. Покинув стены колонии, они становятся еще более опасными преступниками, словно полученное ими наказание пошло им во вред. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос могут дать лишь специалисты-психологи, меня же, философа-дилетанта, он ставит в тупик.

Хочу заявить со всей ясностью и прямоотой, господин редактор, что начальник полиции всегда может рассчитывать на содействие Инспекции по делам несовершеннолетних в деле борьбы с малолетними преступниками.

Примите, г-н редактор, уверения в моем искреннем уважении и преданности

*Инспектор по делам несовершеннолетних.*

*(Напечатано в «Жорнал да Тарде» вместе с фотографией инспектора и кратким, но лестным редакционным комментарием.)*

**Письмо в редакцию газеты «Жорнал да Тарде» бедной швеи, матери семейства**

Уважаемый г-н редактор!

Извините за ошибки и за плохой почерк, но я к письмам непривычная, а это письмо взялась писать потому что хочу чтобы все было ясно. Я прочла у вас в газете, как воруют «капитаны песка», а потом полиция сказала, что всех их заарестуют, а потом сеньор инспектор по малолетним сказал, что они не исправляются в колониях куда он их посылает. Я насчет колонии этой и решила вам написать хоть писать хорошо не умею. Вот бы ваша газета послала кого-нибудь посмотреть, как там обращаются с несчастными детьми из неимущих семей которые на свою беду попали в руки тамошних надзирателей у которых сердце тверже камня. Мой сын Алонсо пробыл там полгода и кабы я не сумела его оттуда выволить один бог знает дожил бы он до срока или нет. Их там секут два а то и три раза в день и это еще хорошо. Директор ходит вечно пьяный и лупит детей хлыстом. Я сама это видела много раз, они внимания не обращают если скажешь что-нибудь и говорят что так нужно для острастки чтоб другим было неповадно. Потому я забрала сына оттуда. Пошлите сеньор редактор туда человека пусть он посмотрит чем их там кормят и какую работу заставляют делать что не всякий взрослый справится и выдержит, и как их лупцуют за дело и без дела. Только пусть не говорит что из газеты а то они его обманут. Пусть придет неожиданно и тогда увидите права я или нет. Из-за таких вот колоний и существуют воровские шайки и пусть уж лучше мой сын будет там чем в таком заведении. Посмотрите сеньор что там творится у вас сердце в груди замрет. Спросите падре Жозе Педро, он там служил капелланом, все видел и знает. Он все вам расскажет и лучше чем я.

*Остаюсь Мария Рикардинья, швея.*

*(Напечатано на пятой странице «Жорнал да Тарде» среди объявлений, без фотографии и комментариев.)*

**Письмо падре Жозе Педро в редакцию газеты «Жорнал да Тарде»**

Господь да благословит Вас.

Уважаемый г-н редактор!

В одном из номеров Вашей уважаемой газеты я прочел письмо Марии Рикардиньи, в котором она ссылается на меня как на того, кто может пролить свет на обстоятельства, сопутствующие жизни детей, попавших в исправительную колонию, и вынужден беспокоить Вас этим письмом, поскольку все, о чем рассказала Вам Мария Рикардинья, к прискорбию, соответствует действительности. Воспитанники вышеупомянутой колонии в самом деле содержатся как дикие звери. Администрация колонии, позабыв заповеди о всепрощении и любви к ближнему, не только не старается привлечь к себе сердца воспитанников добротой и лаской, но напротив, еще больше ожесточает их непрерывными наказаниями и бесчеловечными истязаниями. По долгу пастыря я был обязан нести заблудшим детям утешение и свет истинной веры, но вижу, что ненависть, скопившаяся в душе этих несчастных, больше, чем кто-либо иной достойных жалости, препятствует им воспринять мои слова с должным доверием. Обо всем том, что я ежедневно вижу в колонии, я мог бы написать целую книгу. Благодарю Вас за внимание.

*Падре Жозе Педро, смиренный раб божий.*

*(Напечатано на третьей странице «Диарио да Тарде» под заголовком «Неужели это правда?» и без всяких комментариев.)*

**Письмо директора исправительной  
колонии в редакцию газеты «Жорнал да Тарде»**

Глубокоуважаемый г-н редактор!

С неослабевающим интересом слежу я за тем, как одна из самых блистательных представительниц баиянской прессы, газета «Жорнал да Тарде», ведет под Вашим мудрым руководством кампанию борьбы с шайкой «Капитаны песка», которая терроризирует наш город и нарушает покой его

обитателей.

В числе материалов, посвященных этой теме, я ознакомился и с двумя письмами, содержащими обвинения по адресу учреждения, вверенного моему попечению. Одна лишь скромность — только она одна! — не дает мне права назвать это учреждение образцовым.

Я не унижусь до того, чтобы через посредство Вашей газеты опровергать письмо этой представительницы низших слоев нашего общества, — без сомнения, одной из тех, кто так мешает нам при исполнении нашего священного долга — исправления детей, сбившихся с пути истинного. Когда дети, получавшие воспитание на улице и постоянно имевшие перед глазами примеры недостойного поведения своих родителей, попадают к нам и мы заставляем их приобщаться к нормальной жизни, родители эти, вместо того чтобы со слезами благодарности целовать руки тех, кто не щадит усилий, превращая их детей в полезных членов общества, начинают жаловаться. Но я уже сказал и готов повторить, что оставляю это письмо без внимания. Смешно было бы ожидать, что темная малограмотная работница окажется на высоте понимания тех задач, которые выполняет руководимое мною учреждение.

Но второе письмо поразило меня до глубины души. Этот священник, позабывший, какие обязанности налагают на него его сан и должность, бросил нам тяжкие обвинения. Этот святой отец, которого по справедливости следовало бы назвать «чертовым сыном» (я надеюсь, вы, г-н редактор, простите мне эту иронию), пользовался своим особым положением для того, чтобы, проникая в интернат в неположенные по правилам внутреннего распорядка часы, подбивать детей, отданных государством под мою опеку, на открытое неповиновение и даже бунт. С тех пор, как он появился у нас, случаи нарушения дисциплины и неподчинения установленным правилам участились. Падре Жозе Педро — злостный подстрекатель, дурно влияющий на детей, которые в большинстве своем и так испорчены до крайности. Отныне двери нашего интерната закрыты для него навсегда.

Тем не менее, г-н редактор, я от своего имени присоединяюсь к просьбе Марии Рикардиньи и настоятельно прошу Вас прислать к нам сотрудника Вашей газеты, с тем, чтобы

и Вы, и читающая публика смогли получить истинное и непредвзятое представление о том, как перевоспитывает малолетних преступников Баиянская исправительная колония. В понедельник я буду ждать Вашего сотрудника: допуск посетителей в другие дни запрещен правилами внутреннего распорядка, а я стараюсь ни в чем не отступать от них. Этим, и только этим, объясняется мое желание видеть его именно в понедельник. Заранее благодарю Вас за это, как и за публикацию настоящего письма, и надеюсь, что недостойный священнослужитель будет посрамлен. Примите и проч.

*Директор баиянской исправительной колонии для малолетних преступников и брошенных детей.*

*(Напечатано на третьей странице «Жорнал да Тарде» вместе с фотографией колонии и сообщением, что в понедельник ее посетит репортер.)*

**Образцовое учреждение, где царят мир и труд — не директор, а друг — превосходная кухня — воспитанники и трудятся, и веселятся—малолетние преступники на пути к перерождению — беспочвенные обвинения опровергнуты— претензии высказал только один-неисправимый — баиянская колония живет одной дружной семьей — место «Капитанов песка» — здесь**

*(Заголовки репортажа, опубликованного во вторник, в вечернем выпуске «Жорнал да Тарде» на всю первую полосу вместе с фотографиями колонии и ее директора.)*

**Под луной, в заброшенном пакгаузе**

## Пакгауз

Под луной, в заброшенном пакгаузе спят дети.

Раньше море было совсем рядом. Волны, подсвеченные желтоватым сиянием луны, ласково плескались у подножья пакгауза, прокатывались под причалом — как раз в том месте, где спят сейчас дети. Отсюда уходили в плаванье тяжело нагруженные суда — пускались в нелегкий путь по опасным морским дорогам огромные разноцветные корабли. Сюда, к этому причалу, теперь уже изъеденному соленой водой, приставали они, чтобы доверху набить трюмы. Тогда перед пакгаузом простирался таинственный и необозримый океан, и ночь, спускавшаяся на пакгауз, была темно-зеленой, почти черной, под цвет ночного моря.

А теперь ночь стала белесой, и перед пакгаузом раскинулись пески гавани. Под причалом не шумят волны: песок, завладевший пространством, медленно, но неуклонно надвигался на пакгауз, и не подходят больше к причалу парусники, не становятся под погрузку. Не видно мускулистых негров-грузчиков, напоминающих времена рабовладения. Не поет на причале, тоскуя по родным местам, чужестранный моряк. Белесые пески простираются перед пакгаузом, который никогда уж больше не заполнится мешками, кулями, ящиками. Одиноко чернеет он среди белизны песков.

Много лет полновластными хозяевами его были одни только крысы: они наперегонки носились вдоль его бесконечных стен и грызли тяжеленные деревянные двери. Потом, спасаясь от дождя и ветра, забрел в пакгауз бездомный пес. Первую ночь он совсем не спал — все ловил и рвал на части шмыгавших под самым носом крыс. Потом несколько ночей кряду был на луну: лунный свет беспрепятственно проникал сквозь полуразвалившуюся крышу, заливая сложенный из толстых досок пол. Но пес был бродячим: вскоре он отправился искать себе другое пристанище — темный проем двери, ведущей в человеческое жилье, изогнутый свод моста, теплое тело суки. И снова пакгаузом безраздельно завладели крысы. Так было до тех пор, пока не наткнулись на него бездомные мальчишки.

К тому времени ворота осели и распахнулись, и один из «капитанов», обходивших свои владения (весь порт, как, впрочем, и весь город Баия, принадлежит им), вошел в пакгауз.

Мальчишка сразу понял, что тут гораздо лучше, чем на голом песке или на причалах у других складов, откуда того и гляди смоеет прилив. С той



самой ночи почти все «капитаны» перебрались в заброшенный пакгауз и, под желтым светом луны, разделили компанию крыс. Перед глазами простирались нескончаемые пески. Вдалеке накатывало на причалы море. Корабли входили в гавань или выходили в открытое море, и свет их сигнальных огней бил в полуоткрытую дверь. Через дырявую крышу виднелись усеянное звездами небо и луна.

Потом мальчишки стали хранить в пакгаузе свою добычу, и там появились диковинные предметы. Впрочем, на стороннего наблюдателя еще более странное впечатление произвели бы эти мальчишки всех цветов и оттенков кожи, всех возрастов — от девяти до шестнадцати лет, которые растягивались ночью на деревянном полу или под причалом, не обращая никакого внимания ни на ветер, который с завыванием носился вокруг пакгауза, ни на дождь, от которого вымокали до костей. Глаза их неотрывно следили за сигнальными огнями кораблей, а уши чутко ловили звуки песен, долетавших с палуб...

Там же поселился и атаман их шайки — Педро Пуля. Прозвище это получил он с самого раннего детства, лет с пяти, а сейчас ему уже пятнадцать, и десять из них он бродяжничает. Матери своей он не знал, отца давно застрелили. Педро остался на белом свете один, принялся изучать город, и нет теперь ни улицы, ни переулка, ни тупика, нет такой лавчонки, кабачка, дощатой палатки, которая была бы ему неизвестна. В тот год, когда он примкнул к «капитанам» (недавно выстроенный порт привлек к себе всех бездомных баиянских детей), верховодил в шайке Раймундо, крепыш-кабок<sup>2</sup> с кожей, отливавшей красным.

С приходом Педро власть стала уплывать из рук Раймундо. Педро Пуля забил его по всем статьям: он был и деятельней и сноровистей, он умел все рассчитывать наперед и дать каждому дело по вкусу и силам, он умел себя поставить, а в голосе его и в выражении глаз было что-то такое, что его слушались беспрекословно. Настал день, когда Раймундо и Педро схватились. Раймундо, на свою беду, вытащил нож и полоснул противника по лицу, отметив его до конца жизни рубцом на щеке. Педро был безоружен, и потому остальные члены шайки вмешались, остановили драку и стали ждать реванша. Педро не замедлил отомстить. Однажды вечером, когда Раймундо собирался отлупить негритенка Барандана, Педро заступился за него. Такой драки песчаные отмели еще не видели. Раймундо был старше годами, выше ростом, но Педро Пуля с развевающимися белокурыми волосами, с алым шрамом, горевшим на щеке, превосходил его ловкостью. Раймундо потерял и власть над шайкой, и песчаные отмели. Через некоторое время он нанялся матросом на какое-то судно и ушел

плавать.

Все единодушно признали нового атамана, и с тех самых пор покатались по городу слухи о банде «капитанов» — о бездомных мальчишках, промышлявших грабежом. Никто не знал, сколько их на самом деле, а было их около сотни. Человек сорок, а может и больше, постоянно жили в полуразвалившемся пакгаузе.

Это они, оборванные, грязные, голодные мальчишки, сыпавшие отборной руганью, смолившие подобранные на тротуарах окурки, были истинными хозяевами города и его поэтами: они знали его в совершенстве, они любили его всем сердцем.

## Ночь «капитанов»

Темная ночь неспешно надвигается на Байю со стороны моря, окутывает тьмой старинный форт, рыбацьи баркасы, волнолом, вползает по крутым улочкам, опускается на колокольни церковей. Давно смолкли колокола, вызванивавшие «богородице», — уже гораздо больше шести. Небо все в звездах, и ночь светла, хотя луна так и не выглянула. Пески, окружающие черную громаду пакгауза, хранят следы босых ног: «капитаны» в этот час собираются вместе. Над входом в портовую таверну «Ворота в море» слабо мерцает, грозя вот-вот потухнуть, фонарь. Холодный ветер дует навстречу, швыряет в лицо пригоршни песка, и Большой Жоан гнется под его порывами, точно мачта рыбацьеи шаланды. Ему всего тринадцать лет, а он уже ростом выше всех остальных, и мускулы у него как железо. Четыре года носится он с шайкой по улицам Баии, четыре года он волен как ветер, никого не спрашивается, никому не подчиняется. Большой Жоан не бывал в домике на вершине холма с того дня, как его отца, великана-ломовика, на узкой улице задавил внезапно вылетевший из-за угла грузовик. Огромный таинственный город простирался перед ним, и негритенок решил завоевать его, — черный город, полный церковей и храмов, город, почти такой же загадочный, как море. И Большой Жоан не вернулся домой. В девять лет стал он членом шайки, — в те времена, когда главарем ее был еще Раймундо, который рисковать не любил, и слава ее была еще впереди. Очень скоро Большой Жоан сделался одним из вожаков, и его никогда не забывали позвать на совет, где затевались и обдумывались новые налеты, хотя особенно острым умом он не отличался: голова болела всякий раз, как требовалось поднапрячь мозги. Так же вспыхивали они, если кто-нибудь в его присутствии обижал маленьких. Тело его напрягалось, и он очертя голову бросался в любую драку. Но его побаивались, потому что все знали его силу. Безногий говаривал:

— Наш негр — это помесь мула с кузнечным прессом.

А малолетки, которые, попав в шайку, на первых порах робели, всегда могли рассчитывать на его защиту и покровительство. Любил его и Педро Пуля: Большой Жоан знал, что атаман дружит с ним вовсе не из-за, его силы. Педро заметил доброту негра и часто повторял:

— Добрая ты душа, Жоан. Ты лучше нас всех. Ты мне по нраву, — и

похлопывал смущавшегося паренька по колену.

Большой Жоан шагает к пакгаузу. Ветер бьет в лицо, швыряет в глаза песок, но Жоан, согнувшись, наклонившись вперед, продолжает путь. Он заскочил в «Ворота», пропустил по рюмочке кашасы с Богумилом, который только сегодня вернулся из южных морей, с рыбной ловли. Богумил — самый знаменитый капоэйрист в Баии, все его знают и почитают. В ангольской капоэйре ему нет равных, он превзошел даже Зе Недомерка, слава которого гремит до самого Рио-де-Жанейро. Богумил рассказал Жоану новости и обещал завтра прийти в пакгауз, научить его, Педро Пулю и Кота новым приемам и броскам. Большой Жоан закуривает и шагает дальше, и на песке остаются отпечатки его огромных ступней. Ветер тут же засыпает эти вмятины. В такую ночь в море лучше не выходить, думает негр.

Увязая в песке по щиколотку, он проходит под причалом, стараясь не наступить на спящих. Входит в пакгауз. Мгновение стоит в нерешительности, но потом замечает огонек свечи. Да, это Профессор, пристроившись в дальнем углу, читает при свете огарка. Вконец глаза испортит, думает Большой Жоан, в такой темнотище разбирать мелкие буквы: свечка горит еще тусклей, чем фонарь у входа в таверну, пламя так и ходит из стороны в сторону. Жоан приближается к Профессору, хотя спать всегда ложится у порога, как сторожевой пес, и нож на всякий случай кладет поближе.

Перешагивая через тех, кто уже спит, обходя тех, кто вполголоса болтает с соседом, он подходит к Профессору, присаживается рядом на корточки, смотрит, как жадно тот глотает страницу за страницей.

Прошло уже несколько лет с того дня, как Жоан Жозе по прозвищу Профессор украл с открытой витрины магазина на Баррас первую книгу. Однако добычу он никогда не продавал, а прятал книги в своем углу под кирпичами — чтобы крысы не попортили — и читал запоем. Ему было интересно все на свете, и часто по ночам он рассказывал товарищам диковинные истории об искателях приключений, о знаменитых мореплавателях, о легендарных героях и исторических личностях, и после таких рассказов «капитаны» пристальней вглядывались в морские просторы или в таинственные закоулки Баии, и жажда подвигов и приключений снедала их души. Жоан Жозе — единственный в шайке — читал бегло, хотя в школу ходил всего полтора года. Черные волосы вечно лезли в сощуренные подслеповатые глаза этого щуплого, веснушчатого, не очень-то бойкого мальчика, которому разносторонние познания и дар рассказчика снискали в шайке единодушное уважение. Профессором его

прозвали не только потому, что он здорово показывал фокусы с монетами и платками; пересказывая истории, вычитанные из книг или сочиненные на ходу, Жоан Жозе обнаруживал великий и загадочный дар: он переносил своих слушателей в иные миры, в дальние неведомые края, и смысленные глаза мальчишек блестели в эти часы, как звезды на баиянском небосклоне. Затевая очередное дело, Педро Пуля всегда советовался с Профессором: самые дерзкие налеты увенчивались успехом благодаря его выдумке и изобретательности. Никто, конечно, и представить себе не мог, что через несколько лет он напишет картины, в которых воссоздаст историю своих товарищей, историю многих страдальцев и героев, и полотна эти потрясут всю Бразилию. Никто не мог этого знать — разве что только дона Анинья, «мать святого»<sup>3</sup>, но ведь когда выходит на террейро<sup>4</sup> и начинает волшбу, богиня Иа<sup>5</sup> через оправленный в серебро бараний рожок сообщает ей все на свете.

Большой Жоан долго следил за тем, как читает Профессор: ему-то эти буквы ничего не говорили. Взгляд его скользил по странице, переходил на дрожащее пламя свечи, а потом — на растрепанную голову Жоана Жозе. Наконец негр не выдержал, и в тишине раздался его звучный мягкий голос:

— Хорошая книжка?

Профессор оторвал глаза от книги, увидел Большого Жоана, одного из самых восторженных своих почитателей, и хлопнул его ладонью по плечу:

— Потрясающая!

Глаза его блестели.

— Про моряков?

— Про такого же негра, как ты. Про настоящего мужчину.

— Потом расскажешь, а?

— Как дочитаю. Тут, понимаешь, негр...

И, не договорив, снова впился в книгу. Жоан сунул в рот дешевую сигарету, угостил Профессора и долго сидел на корточках, словно караулил, как бы кто не помешал тому читать. Весь пакгауз гудел гулом голосов, хохотом, перебранкой. Большой Жоан различал даже пронзительный и гнусавый голос Безногого: тот всегда говорит громко и хохочет во всю глотку. Безногий служил «капитаном» — лазутчиком: он умел прикинуться мальчиком из хорошей семьи, потерявшимся в суতোлке и толчее огромного города, и на неделю протыриться в чей-нибудь дом. Кличку свою он получил из-за того, что сильно хромал. По этой же причине трогал он сердца почтенных матерей семейств: когда появлялся у них на пороге и печальным, жалобным голоском просил какой-нибудь еды и позволения

переночевать, ни у кого язык не поворачивался отказать ему. Сейчас Безногий издевался над Котом, — тот убил целый день на то, чтобы украсть перстень с винно-красным камнем, который оказался стекляшкой, ничего не стоящей дребеденью.

Неделю назад Кот оповестил всех и каждого:

— Приглядел я перстенок, такой, что епископу надеть не стыдно. И как раз мне подойдет. Тут главное — не сробеть. Вот посмотрите, я его уведу...

— Он на витрине?

— Не на витрине, а на пальце у того толстяка, что каждое утро садится в трамвай на Байша-дос-Сапатеярос!

И Кот не знал покоя до тех пор, пока не ухитрился все-таки в трамвайной давке снять перстень и улизнуть, когда толстяк обнаружил пропажу. Кот нацепил перстень на средний палец и перед всеми хвастался своей добычей. Но Безногий поднял его на смех:

— Было б из-за чего рисковать! Овчинка выделки не стоит.

— Помолчи, Безногий, не нарывайся!

— До чего ж ты глуп, Котик! В ломбарде за эту стекляшку не дадут ни гроша.

— А я и не собираюсь его закладывать. Он мне по вкусу. Подцеплю на него какую-нибудь...

О женщинах они говорили очень непринужденно и со знанием дела, хотя самому старшему едва минуло шестнадцать: тайны любви давно уже перестали быть тайнами для них.

Вошедший Педро Пуля унял начинавшуюся драку. Большой Жоан, оставив Профессора, который так и не оторвался от книги, подошел поближе. Безногий продолжал хихикать себе под нос, издеваясь над трофеем Кота. Педро окликнул его и вместе с Большим Жоаном уселся рядом с Профессором. Остальные тоже опустились на пол. Безногий сунул в рот окурочку дорогой сигары, с наслаждением затянулся. Большой Жоан вглядывался в море, видневшееся за открытой дверью, — там, где обрывались песчаные гряды.

— Ко мне сегодня приходил Гонсалес...

— Чего ему надо? — спросил Безногий. — Золотую цепочку? Еще одну?

— Нет, не цепочку. Шляпу. И непременно фетровую. Из рисовой соломки не хочет, говорит, на них спроса нет. И еще...

— Ну, что еще? — снова перебил его Безногий.

— Ношеную, говорит, не надо. Только новую.

— Ишь, разлетелся... Если б еще платил по совести...

— Ты ведь знаешь, Безногий, у него рот на замке. Раскошелливается-то он, конечно, со скрипом, но зато никогда не заложит, из него слова не вытянешь.

— Не то что со скрипом, а вообще жмот. А молчать — ему же на руку. Будет болтать — загремит в тюрягу.

— Вот что, Безногий, не хочешь дело делать, иди отсюда, не мешай. Дай обдумать.

— Думай себе на здоровье. Я просто считаю, что незачем с этим жуликом испанским дело иметь. Делай как знаешь.

— Он сказал, что заплатит сполна. Есть смысл покорячиться. Только обязательно — фетровую и неношеную. Возьмись-ка за это, Безногий, собери своих и попробуй достать. Завтра к вечеру Гонсалес придет с кем-нибудь денег и заберет товар.

— В кино можно попробовать, — сказал Профессор, повернувшись к Безногому.

— На Витории еще лучше, — пренебрежительно отвечал тот. — Там у каждого бумажники — вот такие. Пришел и выбирай любую шляпу.

— На Витории и от фараонов не продыхнуть.

— А ты уж и испугался? Там же не агенты, а постовые. Пойдешь со мной, Профессор?

— Пойду. Мне самому нужна шляпа.

Вмешался Педро Пуля:

— Бери кого хочешь, Безногий, полную тебе даю волю, действуй на свое усмотрение. Только Кота и Большого Жоана оставь: они мне нужны для другого дела. — Он посмотрел на Жоана: — Дельце с Богумилом.

— Да, он мне сказал. Сегодня вечером зайдет, устроим капоэйру.

Педро крикнул вслед Безногому, который уже отправился к Леденчику, чтобы обсудить с ним, кто пойдет добывать шляпы:

— Слышь, Безногий, предупреди своих: если будет «хвост», сюда пусть не приводят.

Он стрельнул у Большого Жоана сигарету. Безногий издали подзывал Леденчика. Педро Пуля отправился на розыски Кота — у него было к нему дело, — потом вернулся и улегся на полу рядом с Профессором, который снова уткнулся в книгу. Но свеча догорела и погасла, в пакгаузе стало совсем темно. Большой Жоан, осторожно ступая, пошел к дверям, растянулся на пороге во весь рост. Он и во сне не расставался с ножом, заткнутым за пояс.

Леденчик был тощий и долговязый, желтоватая кожа туго обтягивала скулы, глубоко посаженные глаза казались бездонными, тонкие губы редко

растягивались в улыбку. Безногий для затравки осведомился, успел ли тот помолиться, а потом рассказал ему о шляпах. Они тщательно отобрали тех, кто пойдет на дело, обсудили, кто где будет промышлять, и расстались. Леденчик пошел в тот угол пакгауза, где всегда спал, любовно и тщательно разложил все свои пожитки: старое одеяло, маленькую подушку, которую ловко увел из гостиницы, когда подносил чемоданы какому-то туристу, пару брюк и рубашку неопределенного цвета, но довольно свежую, — это он надевал по воскресеньям. К стенке маленькими гвоздиками были приколочены две олеографии: на одной был изображен святой Антоний с Христом-младенцем на руках (Леденчик при крещении получил имя Антонио, и от кого-то он узнал, что патрон его тоже был бразильцем), а на другой — Пречистая Дева Семи Скорбей, пронзенная стрелами. За рамку был заткнут увядший цветок. Леденчик понюхал его, убедился, что он давно уже ничем не пахнет, и прикрепил к ладанке, которую носил на груди, а из кармана ветхого пиджачка достал красную гвоздику, сорванную вчера в смутное время сумерек под самым носом у сторожа, засунул ее за рамку, устремив на Пречистую благоговейный взгляд. Потом опустился на колени. Раньше товарищи посмеивались над его набожностью, но потом привыкли и не обращали на него внимания. Он начал молиться: на детском лице появилось просветленное сосредоточенное выражение, длинные тощие руки с мольбой простерлись к Богородице, и он совсем стал похож на отшельника-аскета. Глаза его горели, неузнаваемо изменившийся голос дрожал от чувств, неведомых другим членам шайки. В такие минуты он забывал, кто он и где он, и ему казалось, что он уносится куда-то далеко-далеко от старого пакгауза, и рядом с ним стоит Пречистая Дева. Молитва его была проста и незамысловата и не значилась ни в каких часословах: Леденчик просил Деву Марию, чтоб помогла ему поступить в коллеж на Содре, — тот самый, где учат на священников.

Когда Безногий, вернувшийся, чтобы обговорить еще какую-то подробность завтрашнего дела, и уже приготовивший ехидное замечание, от которого ему самому стало смешно и которое должно было взбесить Леденчика, подошел поближе и увидел, что его руки воздеты к небесам, глаза устремлены неведомо куда, а на лице — восторг, усмешка замерла у него на губах, он остановился и долго разглядывал молившегося, охваченный каким-то странным чувством, — тут были и страх, и зависть, и отчаяние.

Леденчик был неподвижен, только губы его медленно шевелились. Безногий часто издевался над ним, как и над всеми прочими, — даже над Профессором, которого он любил, даже над Педро Пулей, которого очень



уважал. Как только в шайку попадал новичок, в голову Безногому тотчас приходила какая-нибудь зловредная идея на его счет. Стоило новенькому неуклюже повернуться или неловко ответить, как Безногий начинал насмехаться над ним и приклеивал ему кличку. Он высмеивал все на свете, потешался над всеми и слыл в шайке одним из первых забияк и драчунов. Славился он и своей жестокостью: однажды поймал в пакгаузе кошку и долго мучил ее, изобретая все новые зверства. В другой раз располосовал ножом лицо официанту в ресторане — и всего-навсего из-за порции жареного цыпленка. Когда у него на ноге назрел нарыв, он хладнокровно вскрыл его лезвием перочинного ножа и со смехом выдавил гной. В шайке его многие недолюбливали, однако те, кто сумел приноровиться к его характеру и стать его другом, говорили, что Безногий — «парень свой». В глубине души он жалел всех, потому что все вокруг него были несчастны, и старался смехом и вышучиванием заслониться от этого несчастья, — издевательства его были как лекарство. Он долго стоял и смотрел на Леденчика, который полностью был поглощен молитвой. Сначала Безногий подумал, что тот чему-то безмерно радуется, что он ужас как счастлив, но потом понял, что это совсем не то, но как назвать это восторженно-просветленное выражение — не знает. В эту минуту Безногому стало ясно, почему он никогда не молился и не помышлял о небесах, про которые так часто говорил им падре Жозе Педро; ему всегда хотелось веселья и счастья, хотелось сбежать от убожества, от бед и несчастий, которые наваливались со всех сторон. Правда, взамен счастья были улицы Баии, была свобода. Но зато ни одна душа не приласкает, слова доброго не скажет. Вот Леденчик ищет все это на небе, в своих иконках, в увядших цветах, которые он приносит Богоматери, точно какой-нибудь романтический вздыхатель из богатых кварталов — невесте или возлюбленной... Нет, Безногому этого мало. Ему немедленно, сию минуту подавай что-нибудь такое, чтобы на лице появилась не издевательская ухмылка, а веселая улыбка, чтоб не надо было вышучивать всех и глумиться над всем, чтоб исчезла тоска, от которой в зимние ночи так хочется плакать. А этот восторг, сияющий на лице Леденчика, ему без надобности. Он хочет счастья, ему нужно, чтобы чья-нибудь любящая рука приласкала его, заставив позабыть и увечье, и те долгие годы, что он провел на улице. Быть может, это продолжалось вовсе не годы, а всего несколько недель или месяцев, но Безногому казалось, что он много лет мыкается по улицам, где его злобно толкают прохожие, хватают сторожа, обижают мальчишки постарше. У него никогда не было семьи. Жил у пекаря, которого называл «крестным», — тот нещадно лупил парня. Как только понял, что побег избавит от побоев, — сбежал. Голодал,

мерз, попал за решетку. Как хотелось ему, чтобы кто-нибудь его приласкал и заставил позабыть тот день в тюрьме, когда пьяные солдаты заставили его — хромого — бегать вокруг стола, подгоняя резиновыми дубинками. Синяки на спине скоро исчезли, но память об этой муке осталась в душе навсегда. Он бегал по комнате как маленький зверек, затравленный хищниками покрупнее. Хромая нога не слушалась. А когда он останавливался перевести дух, дубинка со свистом обрушивалась ему на спину. Сначала он плакал, потом — неведомо как — слезы высохли. Пришла минута, когда он в изнеможении, обливаясь кровью, рухнул на пол. До сих пор звенит у него в ушах хохот солдат и человека в сером жилете, не выпускавшего изо рта сигару. Потом Безногий пришел в шайку: Профессор, с которым они познакомились на скамейке в саду, привел его в пакгауз. Понравилось — остался. Очень скоро он выдвинулся, потому что никто лучше него не умел вызывать сострадание у добросердечных сеньор, чьи квартиры потом посещали юные грабители, превосходно осведомленные о расположении комнат и о том, где хранятся ценности. И когда Безногий представлял себе, как проклинали его эти сеньоры, принявшие его за бедного сироту, душа у него просто пела от радости. Так он мстил им, так вымещал он на них переполнявшую его ненависть, смутно мечтая о какой-то сверхмощной бомбе — про такую рассказывал Профессор, — которая бы разнесла в клочья, подняла на воздух весь город, и, воображая себе этот взрыв, веселел. Может быть, он был бы так же весел и счастлив, если бы кто-нибудь — обычно ему виделась женщина с седеющими волосами и мягкими руками — прижал бы его к груди, погладил, приласкал, убаюкал, прогнав прочь сны о тюрьме, мучившие его еженощно. Да, тогда бы он был весел и счастлив, и ненависть ушла бы из его сердца, и не было бы там ни презрения, ни зависти, ни злости на Леденчика, который, воздев руки к небу и вперив взгляд в одну точку, убегает из мира скорбей и бед в мир, известный ему лишь по рассказам падре Жозе Педро...

Слышатся чьи-то голоса. Четверо входят в сонную тишину пакгауза. Безногий, вздрогнув, смеется в спину Леденчику, который продолжает молиться, и, пожав плечами, решает подождать до завтра с обсуждением «шляпного дела». Спать он боится, и потому направляется навстречу вошедшим, просит закурить и грубо обрывает их похвальбу:

— Да кто же поверит, что таким щенкам, как вы, удалось справиться с бабой?! Это наверняка был какой-нибудь...

Четверо немедля вспыхивают:

— Ты что, правда не веришь или дураком прикидываешься? Хочешь,

пошли завтра с нами! Ты таких и вовсе-то не видал!

— Нет, нет, — издевательски смеется в ответ Безногий. — Я к этим равнодушен.

И отходит прочь.

Кот спать не ложится. Он всегда выходит в город после одиннадцати вечера. Он чистюля и франт, кожа у него бело-розовая, и потому стоило ему только появиться в шайке, Долдон сделал попытку прихватить его. Но Кот уже в те времена отличался немислимым проворством и к тому же вовсе не был «мальчиком из хорошей семьи»: тут Долдон дал маху. Кот пришел к «капитанам» из другой шайки, носившей имя «Индейцы Малокейро» и обитавшей под причалами Аракажу, в Баию же приехал на тормозной площадке товарняка. Ему шел уже четырнадцатый год, он прекрасно знал, какие нравы царят среди бездомных подростков, и мигом догадался, с чего это Долдон, приземистый, коренастый, уродливый мулат, взялся так его обхаживать: угощал сигаретами, поделился ужином и вызвался показать город. Там они украли пару новых башмаков, выставленных в витрине на Байша-дос-Сапатеирос.

— Я знаю, кому их загнать, — сказал тогда Долдон.

Кот оглядел свои ботинки — они уже просили каши.

— Я лучше себе оставлю. Мне давно нужны новые.

— Ты и в этих загляденье, — восхитился Долдон, который по большей части ходил босиком.

— Я уплачу твою долю. Сколько они могут потянуть?

Долдон воззрился на него. Кот был одет в заплатанный пиджак, но при галстуке и в перчатках — чудо из чудес!

— Фасонишь, да? — улыбнулся он.

— Я рожден не для этой жизни. Я рожден для большого света, — произнес Кот фразу, которую услышал однажды от какого-то коммивояжера в кабаре в Аракажу.

Долдон находил, что его новый товарищ — настоящий красавец. Внешность Кота и правда бросалась в глаза, и, хотя в его красоте не было ничего женственного, она привлекла Долдона, которому, в довершение всех бед, совсем не везло с женщинами: он выглядел младше своих тринадцати лет, был мал ростом и невзрачен. А Кот к четырнадцати годам успел вымахать и уже любовно пестовал пушок над губой — тень будущих усов. Долдон в эту минуту любил его всем сердцем и потому сказал:

— Ладно, забирай. Отдаю тебе свой тоже.

— Вот спасибо. Сочтемся как-нибудь.

Долдон решил без промедления воспользоваться этой благодарностью

и будто случайно провел ладонью по бедру Кота. Кот ловко отстранился, засмеялся про себя, но ничего не сказал. Долдон решил не нажимать, чтоб мальчишка не испугался: ему и в голову не могло прийти, что Кот разгадал его мысли. Вечером они шлялись, любуясь праздничной иллюминацией Баии (Кот был потрясен), а часов в одиннадцать вернулись в пакгауз. Долдон представил нового товарища Педро Пуле, а потом отвел в тот угол, где ночевал.

— Вот простыня, нам на двоих.

Кот улегся, Долдон растянулся рядом. Решив, что новичок уснул, он обнял его. Кот вскочил как ужаленный:

— Ошибочка вышла. Я мужчина.

Но Долдон уже потерял власть над собой и ничего не видел, кроме этой белой кожи, черных кудрей и мускулистого тела. Он бросился на Кота, желая свалить его наземь, подмять под себя. Кот отскочил, подставил ему ножку, и Долдон с размаху шлепнулся оземь, расквасил нос. Их уже окружили.

— Он, видно, решил, что я из этих... — сказал Кот и ушел, прихватив простыню.

Некоторое время они враждовали, но потом помирились, и теперь, когда Коту надоедает его очередная подружка, он уступает ее Долдону.

Однажды вечером Кот прогуливался по улицам, где в эти часы собирались проститутки. Волосы его блестели от дешевого брильянтина, галстук скрутился в жгут. Он посвистывал, как истый прожигатель жизни, женщины оглядывались, смеясь, окликали его:

— Эй, петушок! Ты что здесь потерял?

Кот улыбался в ответ и шел дальше. Он ждал, когда кто-нибудь из этих женщин подзовет его к себе, но платить за любовь не собирался, и не в том было дело, что в кармане у него бренчала одна мелочь: нет, «капитанам» не подобает платить женщине, у «капитанов» всегда в избытке шестнадцатилетних негротяночек, неосмотрительно забредающих в их владения.

А женщины с удовольствием оглядывали ладную мальчишескую фигуру, любовались полудетским порочным лицом. Многие согласились бы переспать с красивым мальчишкой, но в этот час они ловили настоящих клиентов, — надо было думать о том, на какие деньги купить завтра еды и уплатить за квартиру. И потому они только посмеивались и, поддразнивая, задевали его. С первого взгляда понимали они, что из Кота вырастет настоящий сутенер, — парень, без мыла влезаящий женщине в душу, тот, кто обирает ее и колотит, но зато и одаряет любовью. Многие желали бы

стать этому юному проходимцу первой, но время близилось к десяти, наступал час солидных клиентов, и напрасно Кот мерил улицу шагами. Тогда-то вот он и увидел Далву, кутавшуюся в меховой жакет, несмотря на душный вечер. Она прошла мимо и не заметила его. Этой статной женщине с чувственным лицом было на вид лет тридцать пять, и Кот немедленно пленился ею. Двинулся следом. Она зашла в какой-то дом. Кот остался караулить на углу. Через несколько минут незнакомка появилась у окна. Кот фланировал по улице, но женщина даже не взглянула в его сторону. А когда появился какой-то старик, она окликнула его, тот кивнул и зашел в подъезд. Кот не сходил с места и после того, как старик торопливо, стараясь не привлекать к себе внимания, выскользнул на улицу. Но женщина к окну так больше и не подошла.

С того вечера Кот ежедневно топтался на этом углу — только чтобы увидеть ее. Деньги, которыми удавалось ему разжиться, он тратил на покупку поношенных костюмов: Кот хотел ослепить ее элегантностью. Низкопробное изящество было у него в крови: ведь тут дело не в одежде, а в том, какая у тебя походка, как лихо заломлена шляпа, как небрежно и элегантно повязан твой галстук. Кот мечтал о Далве, как мечтает голодный о куске хлеба, а измученный недосыпом — о постели. Теперь он молча проходил мимо других женщин, когда после полуночи, заработав себе на пропитание и ночлег, те зазывно улыбались юному красавчику. Только однажды откликнулся он на этот зов — и то, чтобы разузнать о Далве. Женщина рассказала ему, что у Далвы есть любовник — флейтист из какого-то кафе, что он отбирает у нее все деньги и устраивает пьянки и всяческие безобразия, отпугивая гостей их квартала.

Кот приходил на угол каждый вечер. Далва ни разу не взглянула в его сторону, но оттого он любил ее еще сильнее. В горестном ожидании стоял он до тех пор, пока за полночь не показывался флейтист и, послав в окно воздушный поцелуй, не входил в слабо освещенный подъезд. Только после этого Кот брел в пакгауз, неотступно думая об одном и том же: если бы флейтист не вернулся... если бы он умер... Он довольно хлипкий, и четырнадцатилетний Кот, пожалуй, справился бы с ним. Размышляя об этом, он крепко стискивал в кармане рукоять ножа.

И вот однажды флейтист не пришел. В ту ночь Далва, как потерянная, долго ходила по городу, домой вернулась за полночь, одна, и теперь стояла у окна, хотя было уже очень поздно. Вскоре улица опустела: остался только Кот на углу. Он радостно сознавал, что приходит, кажется, его черед. Далва была в смятении. Тогда Кот начал прохаживаться мимо ее окна взад-вперед, пока женщина наконец не обратила на него внимания, не подозвала к себе.

Улыбаясь, Кот тотчас подошел.

— Это ты, соплячок, торчишь тут на углу каждую ночь?

— Торчу. Только я не соплячок...

Она невесело улыбнулась:

— Сделай доброе дело... Я кое о чем попрошу тебя... — Тут она на мгновение задумалась и покачала головой: — Хотя нет. Ты ведь не зря тут ошиваешься: пасешь, наверно, кого-нибудь и не можешь терять время попусту, да?

— Как раз могу. Тот, кого я поджидаю, сегодня уже не придет.

— Ну, тогда, пожалуйста, миленький, сходи на улицу Руя Барбозы, дом тридцать четыре. Найдешь там Гастона. Квартира на первом этаже. Скажешь ему, что я его жду.

Кот испытал острое чувство унижения. Сначала он решил, что никуда не пойдет и постарается вообще никогда больше не встречаться с Далвой. Но потом ему стало любопытно: что же представляет собой этот флейтист, у которого хватило духу бросить такую красавицу? Он подошел к черному многоэтажному дому, поднялся по лестнице и спросил у дремавшего в коридоре мальчишки, где тут проживает сеньор Гастон. Тот показал в самый конец коридора, и Кот постучался. Дверь открыл сам флейтист. Он был в одних трусах, а в кровати Кот заметил худую женщину. Оба были навеселе.

— Я от Далвы, — начал Кот.

— Передай этой потаскухе, чтобы зря не старалась. Она мне вот уже где... — И он чиркнул ладонью по горлу.

Из глубины комнаты послышался голос женщины:

— Чего этому херувимчику надо?

— Не твое дело, — отозвался флейтист, но тут же объяснил: — Далва его прислала. Из кожи вон лезет, чтоб я вернулся к ней.

Женщина рассмеялась пьяно и бесстыдно:

— А тебе теперь никто не нужен, кроме меня, да? Поцелуй меня.

Флейтист тоже расхохотался:

— Видал, малявка, какие у нас дела пошли? Вот и передай Далве.

— Я ничего пока что не видел, кроме выдубленной шкуры. На какой помойке подобрал? Долго небось искал?

Флейтист стал серьезен:

— Это моя невеста, изволь вести себя прилично, — и без перехода добавил: — Выпить хочешь? Кашаса больно хороша.

Кот прошел в комнату. Женщина натянула одеяло до подбородка.

— Можешь его не стесняться: мал еще, — засмеялся флейтист.

— Меня мослами не соблазнишь, — ответил Кот.

Он выпил рюмку кашасы. Хозяин уже успел улечься в постель и целовал свою подругу. Ни он, ни она не заметили, как Кот сунул за пазуху сумочку, которая валялась на стуле, на груди одежды. Выйдя из дома, Кот пересчитал деньги: семьдесят восемь мильрейсов. Он швырнул сумку под лестницу, сунул деньги в карман и, насвистывая, двинулся обратно.

Далва по-прежнему стояла у окна. Кот пристально взглянул на нее:

— Я поднимусь, ладно? — и, не дожидаясь ответа, взлетел по лестнице.

Далва встретила его на площадке.

— Ну? Что он тебе сказал?

— Дай войти. Куда — налево, направо?

Первое, что Кот увидел в комнате, была фотография Гастона: он был в смокинге и прижимал к губам флейту. Не сводя глаз с фотографии, Кот уселся на кровать. Далва смотрела на него испуганно и едва сумела вымолвить:

— Так что же он сказал?

— Сядь, — ответил Кот, указав ей место рядом с собой.

— Ах, соплячок ты, соплячок... — прошептала она.

— Он теперь путается с другой, поняла? Я им обоим сказал кое-что приятное, а у той бабы свистнул сумочку. — Он сунул руку в карман, вытащил деньги. — Поделим!

— С другой? Что ж, Спаситель Бонфинский накажет и его, и эту тварь. Спаситель Бонфинский меня не оставит.

Она подошла к стене, на которой висел образок, прошептала несколько слов — должно быть, дала обет — и вернулась.

— Деньги можешь взять себе. Заработал.

— Сядь здесь, — повторил Кот.

На этот раз она подчинилась, и Кот, схватив ее в объятия, повалил на кровать. Он заставил ее стонать от наслаждения и прошептать, когда все было позади:

— Соплячок оказался мужчиной...

Кот встал, поддернул штаны, схватил фотографию Гастона и разорвал ее в клочья.

— Я принесу тебе свою карточку. Вставишь в рамку.

Засмеявшись, женщина произнесла:

— Ох и далеко же ты пойдешь, ох и негодяй же из тебя вырастет... Я научу тебя всему, всему, щеночек мой.

Она заперла дверь. Кот сбросил с себя одежду.

Вот потому он никогда не ночует в пакгаузе и после двенадцати уходит к Далве. Вернувшись утром, вместе с остальными отправляется на промысел.

Безногий подошел поближе, спросил ехидно:

— Ну, что, побежишь хвастаться перстеньком?

— А тебе-то что? — ответил, закуривая, Кот. — На тебя, хромого, никто не позарится.

— Нужны они мне больно, твои потаскухи. Я знаю, где найти бабу получше.

Но Кот продолжать перепалку не захотел, и Безногий заковылял через пакгауз дальше.

У стены он остановился, присел, надеясь, что сон сморит его. В половине двенадцатого ушел Кот. Безногий ухмыльнулся ему вдогонку: тот вымылся, пригладил волосы брильянтином и шел враскачку, подражая походочке, сутенеров и матросов. Безногий долго стоял у стены, глядя на спящих в пакгаузе детей: их было не меньше пятидесяти.. Ни отца, ни матери, ни учителя — ничего на свете у них не было, кроме свободы: бегай по городу сколько влезет, добывай себе еду и одежду как знаешь. Они подносили приезжим чемоданы, крали бумажники, срывали шляпы, иногда просили подаяние, иногда грабили прохожих. Всего их было человек сто: многие ночевали не в пакгаузе, а в подъездах небоскребов, на причалах, под перевернутыми лодками в гавани. Жаловаться было не принято. Случалось, что кто-нибудь умирал от болезни: лечить их было некому. Если в это время в пакгауз заглядывал падре Жозе Педро, или «мать святого» дона Аинья, или капоэйрист Богумил, больной получал лекарство, но ухода за ним не было никакого: не дома ведь. Безногий задумался обо всем этом и наконец пришел к выводу, что радость свободы не перекрывает тягот и убожества такой жизни.

Послышался шорох, и он обернулся. Негритенок Барандан, стараясь не шуметь, крался к дверям. Безногий сообразил: наверно, украл что-нибудь и хочет спрятать добычу от остальных, чтоб не пришлось делиться. Законы шайки строго карали за это. Безногий, пробираясь между спящими, неслышно двинулся следом. Негритенок уже вышел наружу и огибал пакгауз с левой стороны. Над головой расстилалось усыпанное звездами небо. Барандан прибавил шаг. Безногий понял, что он идет к противоположному крылу пакгауза, туда, где песок мельче, занял удобную позицию и вскоре увидел чей-то силуэт, приближавшийся к Барандану. Безногий узнал его: это был двенадцатилетний Алмиро, пухлый увалень...



Безногий попятился, тоска его стала нестерпимой. Каждый ищет ласки, каждый чем может заслоняется от этой жизни: Профессор читает ночи напролет. Кот живет с уличной женщиной и берет у нее деньги, Леденчик весь преобразается от молитвы, а Барандан и Алмиро украдкой встречаются ночами. Нет, сегодня ему не заснуть, тоска не даст глаз сомкнуть... А если и уснет, ему привидится тюрьма. Хоть бы пришел кто-нибудь, над кем можно было бы поиздеваться... Хоть бы подраться... Может, пойти сунуть зажженную спичку кому-нибудь между пальцев — пусть подрыгает ногами. Но заглянув в дверь, он почувствовал только печаль, безумное желание убежать и помчался напрямик, через пески, сам не зная куда, убегая от своей тоски.

Педро Пулю разбудил какой-то шорох. Он спал ничком и, проснувшись, чуть приподнял голову. Мальчишка воровато пробирався в тот угол, где лежал Леденчик. Педро Пуля еще в полусне подумал, что мальчишка хочет забраться к нему в постель, и насторожился: уличенных в таких делах изгоняли из шайки. Но тут сон как рукой сняло: на Леденчика это непохоже. Значит, тот просто-напросто собирается его ограбить. Он не ошибся, — мальчишка уже откинул крышку чемодана. Педро Пуля кинулся на него, свалил наземь. Схватка была короткой. Никто, кроме Леденчика, даже не проснулся.

— У своих воруешь?

Мальчишка молчал, прижимая ладонь к разбитому подбородку.

— Утром чтоб тебя тут не было. Нечего тебе тут делать. Это в шайке Эзекиела тырят друг у друга, вот к ним и ступай.

— Я хотел только посмотреть...

— Ага. И потому шарил в чужих вещах?

— Вот провалиться мне на этом месте, я хотел всего лишь медальон посмотреть.

— Что еще за медальон? Не вздумай врать!

Тут вмешался Леденчик:

— Брось, Педро. Может, он и вправду хотел посмотреть ладанку, что подарил мне падре.

— Ей-Богу, не думал красть, — опять заговорил мальчишка, дрожа от страха. — Что ж я, не знаю, каково живется тем, кого выгнали «капитаны»?! Куда податься? Или к Эзекиелу — так они за решеткой чаще бывают, чем на воле. Или в колонию...

Педро Пуля отошел к спавшему Профессору. Мальчишка сказал Леденчику дрожащим голосом:

— Ладно, расскажу все как есть. Встретил вчера в Сидаде-да-Палья

девчонку. Зашел в один магазинчик, хотел пиджак увести. А она увидела, спрашивает, что мне угодно. Ну вот, слово за слово... Сказал, мол, завтра принесу тебе подарок... Она добрая, понял, она говорила со мной по-человечески! — Охваченный внезапной яростью, он сорвался на крик.

Леденчик подержал образок на ладони, посмотрел на него и вдруг протянул мальчишке.

— На. Отдай ей. Только Пуле не говори.

На рассвете в пакгауз вошел Вертун, мулат родом из сертанов, волосы всклокочены, на ногах — альпаргаты, словно он только что вернулся из каатинги, лицо, как всегда угрюмо. Он перешагнул через спящего Большого Жоана. Сплюнул и растер плевков подошвой. В руке у него была газета. Он оглядел весь пакгауз, словно отыскивая кого-то, заметил наконец Профессора и, бережно неся газету на широких мозолистых ладонях, направился к нему, принялся будить, хотя было еще очень рано:

— Профессор... Профессор...

— Чего тебе? — замычал тот спросонок.

— Дело есть.

Профессор приподнялся и сел. В темноте едва угадывалось хмурое лицо Вертуна.

— Это ты, Вертушка? Чего тебе надо?

— Ну-ка прочти мне про Лампиана<sup>6</sup>, вот я «Диарио» принес. Статейка и портрет.

— Горит у тебя, что ли? Утром прочту.

— Нет, прочти сейчас, а я тебя за это научу свистать кенаром.

Профессор нашарил огарок, зажег его и стал читать. Лампиан ворвался в какой-то городок штата Баия, прикончил восьмерых солдат, изнасиловал девиц, выгреб городскую казну. Хмурое лицо Вертуна мало-помалу прояснилось, плотно сжатые губы разъехались в улыбке. Профессор дочитал до конца, дунул на свечку, а счастливый Вертун пошел в свой угол, чтобы вырезать из газеты фотографию Лампиана и его людей. Весеннее ликование царило в его душе.

## На трамвайной остановке

Когда же уйдет полицейский? То посмотрит на небо, то окинет взглядом пустынную в этот час улицу. Вот скрылся за углом последний трамвай. Полицейский достает сигарету: дует ветер, и прикурить ему удастся только с третьей спички. Ветер раскачивает стволы манговых деревьев и сапотизейро, несет зябкую сырость, и полицейский поднимает воротник плаща. Трое мальчишек ждут, когда он уйдет: им надо пересечь мостовую и юркнуть в немощенный переулок; Богумил прийти не смог, просидел весь вечер в таверне, поджидая клиента, а тот так и не явился. А приди он, все было бы легче, он бы не стал упрячиться, потому что многим обязан капоэйристу. Да вот не пришел, видно, наврали или перепутали, а ночью Богумилу надо быть в Итапарике. Днем на пустыре за таверной «Ворота в море» он показывал новые приемы капоэйры. Кот подавал большие надежды: если так пойдет и дальше, он сможет потягаться с самим Богумилом. Педро Пуля тоже все схватывал на лету. Хуже всех дела шли у Большого Жоана, хотя в обычной драке, где он мог пустить в ход свою огромную физическую силу, ему цены не было. Однако и он знал теперь достаточно, чтобы справиться с противником сильнее себя. Утомившись, они зашли в таверну, заказали по стаканчику, а Кот вытащил из кармана колоду карт, засаленных и обтрепанных. Богумил сказал, что сведения — надежные, тот, кого они ждали, придет непременно. Дело сулит большую выгоду, и Богумил предпочитает позвать их — «капитанов», чем каких-нибудь портовых подонков. Они, хоть и мальчишки, заткнут за пояс любого взрослого и к тому же умеют держать язык за зубами. Таверна была почти пуста: только за дальним столиком двое матросов с каботажного парусника пили пиво и тихо переговаривались. Кот бросил колоду на стол и предложил:

— Перекинемся?

— Да они хуже крапленых, — сказал Богумил. — Им лет сто...

— Доставай свои, если есть. Мне все равно.

— Ладно уж, сыграем.

Начали играть. Сначала счастье улыбалось Педро Пуле и Богумилу. Большой Жоан, который не принимал участия в игре — слишком хорошо было ему известно, какая у Кота колода, — только засверкал ослепительными зубами, когда Богумил сказал, что в день Шанго, его

святого, ему обязательно повезет. Большой Жоан знал, что везенье его — ненадолго: когда Кот начнет чистить партнера, то уж на полдороге не остановится. Через некоторое время карта пошла Коту. Выиграв в первый раз, он сказал печально:

— Пора, давно пора. А то все мимо да мимо.

Большой Жоан заулыбался еще шире. Кот снова сорвал банк, и тогда Педро Пуля встал, сгреб свой выигрыш. Кот подозрительно взглянул на него:

— Больше не ставишь?

— Пока нет. Пойду облегчусь, — и направился в глубь бара.

Богумил продолжал проигрывать. Большой Жоан хохотал, а капоэйрист хмурился. Вернувшись, Педро Пуля играть не стал, а уселся рядом с Жоаном и тоже засмеялся: Богумил уже успел спустить все, что раньше выиграл.

— Сейчас полезет в заглашник, — шепнул Жоан.

— Ну, все, теперь проиграю, — сказал Кот.

Но тут он заметил, что вернулся Педро.

— Неужели не рискнешь? Ставь на даму.

— Да ну, надоело, — ответил тот и подмигнул Коту, прося его угомониться и не потрошить Богумила.

Капоэйрист поставил пять мильрейсов, но выиграть ему удалось лишь дважды. Он заподозрил неладное. Кот открыл карты: король и семерка.

— Чем отвечаешь? — спросил он.

Никто ничем не ответил, — даже Богумил, который поглядывал на колоду все с большим недоверием.

— Ты, может, думаешь, я мухлюю? — сказал Кот. — Можешь проверить: чистая игра.

Большой Жоан заржал во всю глотку. Педро Пуля и Богумил тоже засмеялись. Кот метнул на Жоана гневный взгляд:

— Чего гогочешь, дубина? Ты меня поймал хоть раз?..

Он не договорил, потому что морячки, давно уже наблюдавшие за ними, встали и подошли к их столу. Тот, что был ниже ростом и казался по пьяней, обратился к Богумилу:

— А нам нельзя ли с вами?..

— Вот он банкует, — показал тот на Кота.

Матросы недоверчиво воззрились на мальчишку, потом низенький толкнул своего товарища локтем и что-то шепнул ему на ухо. Кот, смеясь в душе, знал, что он шепнул: соглашайся, мол, обчистить такого юнца — плевое дело. Морячки присели к столу, и, к удивлению Богумила, желание

принять участие в игре изъявил и Педро Пуля. А Большой Жоан, напротив, не только не удивился, но и сам придвинулся поближе; он знал: для того, чтобы все выглядело правдоподобно, проигрывать придется и кому-нибудь из них. В точности так, как это было с Богумилом, к морякам поначалу повалила карта, однако продолжалось это недолго, — Кот выиграл у всех четверых. Педро Пуля после каждой взятки приговаривал:

— Вот везет этому Коту, вот везет!..

— Зато если уж не заладится, так тоже на всю ночь, — ответил Большой Жоан, и после этих слов матросы поверили, что игра ведется честная, а счастье переменчиво. И они продолжали играть и проигрывать. Низенький все повторял:

— Ничего, ничего, повезет и нам!

Второй матрос — с усиками — помалкивал и все повышал ставки. Удваивал и Педро Пуля. Через некоторое время матрос повернулся к Коту:

— Банк примет пять мильрейсов?

Кот, изображая нерешительность и раздумье — товарищи его знали, что ни того, ни другого не было и в помине, — почесал в затылке, взъерошил волосы, густо намаженные дешевым брильянтином.

— Ладно. Приму. Дам тебе шанс переломить судьбу.

Усатый поставил пять мильрейсов. Низенький — три. Оба пошли с туза против валета. Педро и Жоан тоже. Кот начал сдавать. Первой выпала девятка. Низенький забарабанил пальцами по столу, второй матрос щипал усики. Потом выпала двойка.

— Теперь — туз. За двойкой всегда идет туз, — и сильнее забарабанил по столу.

Но Кот выбросил семерку, потом десятку, а потом пришел валет. Кот придвинул к себе выигрыш, а Педро Пуля, сделав вид, что огорчен и раздосадован донельзя, сказал:

— Ладно же, завтра я тебя обдеру.

Низенький матрос сообщил, что он — пустой. Усатый пошарил в карманах:

— Вот. Только-только за пиво расплатиться. Мальчишке и вправду везет чертовски.

Они встали, кивнули на прощание, заплатили за пиво. Кот пригласил их заглядывать в таверну в свободную минутку, но низенький ответил, что их судно ночью снимается с якоря, идет в Каравелас. Вот вернутся, тогда придут отыгрываться. И моряки, поддерживая друг друга и кляня невезенье, вышли.

Кот подсчитал выигрыш: тридцать восемь мильрейсов, не считая того,

что просадили Педро и Жоан. Кот отдал деньги товарищам, потом на минуту задумался, сунул руку в карман, вытащил пять мильрейсов, отдал их Богумилу:

— Держи, игрок... Не хочу на тебе наживаться: я передергивал...

Богумил поцеловал кредитку, хлопнул Кота по спине:

— Далеко пойдешь, парень. У тебя не пальцы, а чистое золото: они принесут тебе счастье.

Солнце садилось, а тот, с кем они условились встретиться, все не приходил. Заказали еще по рюмке. На заходе солнца ветер с моря стал задуть сильнее. Богумил явно терял терпение, курил одну сигарету за другой. Педро Пуля не отрываясь смотрел на дверь. Кот раскладывал выигрыш на три равные доли.

— Интересно, выгорело ли у Безногого дело со шляпами? — спросил Большой Жоан.

Никто не ответил. Ясно было: клиент не придет. Кто-то наврал или перепутал. Смолкла песня, долетавшая с моря. Опустела таверна, и сеу Фелипе задремал, сидя у стойки. Но совсем скоро сюда набьется народ, и тогда поговорить о деле не удастся: их гость избегает людных мест, боится, что его узнают. Зачем ему это? Да и «капитанам» тоже? Кот не знал, о чем пойдет у них речь, а Педро и Большой Жоан знали только то, что сказал им Богумил: это дело предложили ему, а он посвятил в него «капитанов», но все подробности обещал сообщить им сам клиент, назначивший им эту встречу в «Воротах». Но уже шесть часов, а его все нет. Вместо него в ту минуту, когда они уже собрались уходить, пришел посредник. Он сказал, что клиент не смог освободиться и теперь будет ждать Богумила у себя, к часу ночи. Богумил ответил, что в это время занят, вместо него на свидание отправятся эти мальчишки. Посредник недоверчиво оглядел всех троих.

— Неужто не слыхали о «капитанах песка»? — спросил Богумил.

— Слышать-то слышал...

— Так или иначе, делать дело будут они. Пусть они и сходят...

Посредник вроде бы удовлетворился этим объяснением. Назначили час встречи и разошлись: Богумил отправился на корабль, «капитаны» — в пакгауз, а посредник исчез на набережной.

Безногий еще не возвращался. Пакгауз был пуст: должно быть, все разбрелись по городу, промышляли себе на ужин. Трое приятелей не стали их дожидаться, отправились перекусить в дешевой харчевне на рынке. В дверях развеселившийся от удачной игры Кот хотел свалить Педро подсечкой, но тот ловко увернулся и сшиб нападавшего:

— Дурень, это ж мой коронный прием!

В ресторанчик они ввалились с шумом. Старик официант подошел к ним с опаской: он знал, что такие посетители предпочитают удрать не заплатив, а этот паренек со шрамом на щеке — самый отпетый из всех. Хотя за каждым столом ужинали, старик сказал:

— Ничего нет. Все кончилось.

— Не заливай, папаша. Мы жрать хотим, — ответил Педро.

Большой Жоан стукнул кулаком по столу:

— Разнесу твой кабак по бревнышку!

Официант продолжал мяться в нерешительности. Тогда Кот швырнул на стол деньги:

— Сегодня мы платим.

Это подействовало. Старик принес им сарапател<sup>7</sup>, а потом — блюдо с фейжоадой<sup>8</sup>. Расплачивался Кот. Поужинав, Жоан сказал, что им пора идти в Бротас: путь неблизкий, а добираться к тому же придется на своих на двоих.

— Да, на «колбасе» сегодня не поедем, — согласился Педро. — Не надо никому глаза мозолить.

Кот сказал, что придет попозже и сам их отыщет: он хотел предупредить Далву, что сегодня не явится.

И вот теперь, затаившись в подворотне, они молча ждут, когда же полицейский сдвинется с места. Слышно, как рассекают воздух крылья летучих мышей — идет охота на лягушек. Полицейский наконец уходит, и «капитаны» провожают его глазами, пока он не заворачивает за угол. Тогда они, перебежав улицу, ныряют в узкий проход между домами и снова замирают, неподвижно распластавшись в дверном проеме. Но вот подъезжает машина, и появляется тот, кого они ждут. Он расплачивается с шофером и шагает вверх по переулку: слышен только звук его шагов да шелест листвы, сотрясаемой ветром. Педро Пуля выходит ему навстречу, а чуть погодя — и двое других, они держатся на полшага сзади, как телохранители. Человек отшатывается к стене. Педро идет прямо на него, и, подойдя вплотную, спрашивает:

— Не найдется ли у вас огоньку? — В пальцах у него зажата потухшая сигарета.

Человек молча достает из кармана коробок спичек, протягивает Педро. Педро прикуривает и при свете спички разглядывает его лицо. Потом возвращает коробок.

— Вас зовут Жоэл?

— Зачем тебе знать, как меня зовут?

— Мы от Богумила.

Большой Жоан и Кот подходят поближе. Человек окидывает их тревожным взглядом:

— Что-то маловаты вы для такого дела. Мне взрослые нужны...

— Все будет в лучшем виде. Мы не подведем. Что надо делать? — спросил Педро.

— Да тут не всякий взрослый... — И тут он зажимает себе рот, боясь выболтать лишнее.

— Мы умеем хранить тайну. Могила! Если «капитаны песка» за что-нибудь берутся, значит, можете быть спокойны...

— «Капитаны»? Так это про вас пишут в газетах? Вы и есть — беспризорные дети?

— Мы самые, сеньор. В нашей шайке мы — главные.

Человек о чем-то раздумывает.

— Я бы, конечно, предпочел иметь дело со взрослыми, — решает он наконец. — Но время не ждет: все надо проверить сегодня ночью. Ладно...

— Увидите, как мы умеем работать. Будьте покойны.

— Ладно. Идите за мной, только держитесь в нескольких шагах.

Трое послушно двинулись следом. Мужчина останавливается у ворот, отпирает замок, входит. Огромный пес бросается к нему, лижет ему руки. Впустив «капитанов», мужчина ведет их через обсаженный деревьями двор к дому. Они входят в комнату, мужчина сбрасывает на стул плащ и шляпу, усаживается. Трое стоят посреди комнаты. «Садитесь», — жестом предлагает хозяин, но Педро и Большой Жоан боязливо поглядывают на широкие удобные сиденья. Только Кот вальяжно устраивается в кресле. После повторного приглашения садятся и двое остальных, Жоан — на самый краешек, точно боясь испачкать обивку. Хозяин смотрит на них, едва удерживаясь от смеха. Потом вдруг порывисто поднимается на ноги и говорит, обращаясь к Педро, в котором признал жоака:

— Дело, которое я вам поручу, — и легкое и сложное. А самое главное — держать язык за зубами.

— Мы не проболтаемся, — отвечает тот.

Хозяин смотрит на карманные часы:

— Четверть второго. Раньше половины третьего он не вернется... — Во взгляде, которым он окидывает мальчишек, все еще сквозит легкая растерянность.

— Времени мало, — говорит Педро Пуля. — Чтобы поспеть, нам надо выйти сейчас.



Хозяин наконец решается:

— Третья улица отсюда. Предпоследний дом справа. Будьте осторожны, на ночь там спускают собаку — и зубастую.

— Нет ли у вас кусочка мяса? — прерывает его Большой Жоан.

— Зачем тебе?

— Не мне, а собаке. Небольшой кусочек.

— Сейчас поищу. — И снова оглядывает троицу, словно спрашивает себя, не зря ли доверился он этим мальчишкам. — Итак, войдете. Рядом с кухней, над гаражом, — комната слуги. Его самого там не должно быть: он ждет хозяина в доме. Вот в эту комнату вы и должны проникнуть. Надо отыскать там вот такой сверток, точно такой. — Он достает из кармана плаща маленький пакетик, перевязанный розовой ленточкой. — Точно такой. Может, его и не окажется в комнате, может, слуга носит его при себе. В этом случае — все. Ничего не попишешь. — На секунду лицо его искажается гримасой отчаяния. — Эх, если бы я сам мог... Да нет, конечно, он в комнате. А если нет?! — И он закрывает лицо руками.

— Можно будет принести пакетик, даже если он у слуги в кармане... — говорит Педро.

— Нет. Самое главное: никто не должен знать о краже. Ваше дело — подменить сверток.

— Ну, а если в комнате мы его не найдем?

— Тогда... — Лицо мужчины снова искажается гримасой, Жоану кажется, что губы его шевельнулись, произнесли какое-то имя, вроде «Элиза». А может, и нет: Жоан иногда слышит и видит то, чего никто больше не видит и не слышит. Негр любит приврать.

— Тогда мы все равно подменим свертки, будьте покойны. Вы не знаете «капитанов»!

Как ни велико отчаяние этого человека, бравада Педро смешит его, он улыбается.

— Ну что ж, ступайте. Постарайтесь управиться до двух часов. Возвращайтесь сюда, только смотрите, чтоб никто вас не заметил. Я буду ждать. Тогда и сочтемся. Но вот что я вам хочу сказать: если вас схватят, меня в это дело не впутывайте. Я вам ничем не помогу, мое имя не должно даже упоминаться. Если накроют, — уничтожьте сверток, а обо мне забудьте. На карту поставлено все.

— В таком случае, — говорит Педро, — давайте договоримся о цене сейчас. Сколько вы нам даете?

— Сотню. По тридцати на брата и еще десятку сверху — тебе.

Кот ерзает в кресле, но Педро не дает ему произнести ни слова.

— Нет, сеньор. По пятидесяти. Вы и так внакладе не останетесь. Полторы сотни — или мы отказываемся.

Хозяин колебался недолго. Взглянув на циферблат, по которому бежит секундная стрелка, он соглашается.

— Ладно.

Тут вмешивается Кот:

— Вот какое дело, сеньор... Не подумайте, что мы вам не доверяем, но мы ведь можем погореть, а вы сами сказали, что помогать нам не станете...

— Ну и что?

— Так нельзя ли задаточек? Это было бы по совести.

Большой Жоан одобрительно кивает Коту.

— Да, это было бы по совести. Мало ли что может случиться, где мы вас будем искать? — говорит Педро.

— Верно. — Хозяин вытаскивает из бумажника кредитку в сто мильрейсов, протягивает ее Педро.

— Ну, а теперь ступайте. Пора.

Уже в дверях Педро сказал:

— Не беспокойтесь. Через час получите ваш пакет.

Перед домом (улица совершенно пустынна, в окошке горит свет и мелькает взад-вперед силуэт женщины). Большой Жоан хлопает себя по лбу:

— Мясо-то я забыл!

Педро глядит на освещенное окно, поворачивается к друзьям:

— Я все понял. Тут любовная история. Наш клиент соблазнил здешнюю девицу, а слуга перехватил письма, которые они писали друг другу. Теперь он хочет поднять шум. От сверточка пахнет духами, значит, и от другого должно пахнуть.

Жестом приказав Коту и Жоану ждать на противоположном тротуаре, он подходит к воротам дома. Не успел прикоснуться к створке, как с лаем появился большой пес. Педро привязывает к щеколде шнурок, а пес, рыча, носится из стороны в сторону. Педро зовет друзей.

— Ты, — говорит он Коту, — стой тут, на стреме. Жоан, пойдешь со мной.

Они влезают на решетчатую ограду, Педро тянет за шнурок, и калитка открывается. Кот отходит за угол. Собака кидается в открытую калитку, выскакивает на улицу, с грохотом катает пустую консервную банку. Педро и Жоан перемахивают через стену, захлопывают калитку, чтобы собака не могла вернуться, и идут к дому через сад. Женщина в окне все ходит взад-вперед.

— Жалко ее, — шепнул Жоан.

— Никто ее не заставлял изменять мужу. Возле дома негр останавливается: если Кот условным свистом подаст сигнал опасности, он предупредит Педро, который подходит к кухне, огибая дом. Двери на кухню и в комнату прислуги открыты, но прежде, чем подняться, Педро заглядывает на кухню. За столом какой-то мужчина раскладывает пасьянс. «Это, наверно, и есть тот слуга», — соображает Педро и, шагая через четыре ступеньки, взлетает по лестнице. В комнате темно. Педро притворяет за собой дверь, чиркает спичкой. Кровать, чемодан, вешалка на стене. Спичка догорает, но Педро уже роется в простынях. Ничего! Под матрацем тоже пусто. Педро берется за чемодан: приподнимает крышку, зажигает еще одну спичку, которую держал в зубах, осторожно перебирает пожитки слуги. Ничего. Тут он спохватывается, что слуга, может быть, не курит, и, загасив огонек, прячет спичку в карман. В карманах висящей на распялке одежды — пусто. Еще одна спичка. Педро оглядывает комнату.

— Ясное дело, он носит их с собой. Больше им негде быть.

Он выходит из комнаты, спускается по лестнице. Замирает в дверях кухни, где по-прежнему сидит за столом слуга. Только теперь замечает Педро, что под ногами у него — сверток. «Все пропало», — думает Педро. Как вытащить письма? Он идет навстречу Большому Жоану. Напасть на слугу? Начнется свалка, крик, шум, все узнают о пропаже. Нельзя. И тут его осеняет: он свистом подзывает Жоана, и тот появляется рядом.

— Слушай, — приглушенно говорит Педро, — слуга сидит на свертке. Сбегай ко входной двери, нажми звонок, а когда он пойдет открывать, я сверточек уведу. Только как позвонишь — дуй оттуда вовсю, чтоб он тебя не заметил и подумал: почудилось. Только выжди немного, я должен вернуться к кухне.

И он бежит обратно. Через минуту раздается звонок. Слуга торопливо поднимается, застегивает пиджак и, зажигая по дороге свет во всех комнатах, бежит открывать. Педро врывается в кухню, подменяет свертки и, перескочив через забор, свистит Коту и Жоану. Кот тут как тут, а Жоан исчез. Они высматривают его в темноте, но негра нет. Педро начинает тревожиться: может быть, слуге удалось сцапать Жоана и он сейчас вытряхивает из него душу? Но ведь все тихо...

— Еще подождем немножко. Не придет — вернемся в дом.

Они снова посвистывают, но ответа не получают. Педро Пуля принимает решение:

— Пошли в дом.

В эту минуту слышится условный свист, а вскоре перед ними

вырастает фигура Жоана.

— Где тебя носило? — спрашивает Педро.

Кот, ухватив собаку за ошейник, вталкивает ее за ворота. Они отвязывают шнурок от щеколды и исчезают в конце улицы. Тут Жоан начинает рассказывать:

— Только я притронулся к звонку, эта сеньора наверху перепугалась. Распахнула окно, перегнулась, я уже подумал: сейчас выкинется. И плачет все время. Ну, мне жалко ее стало, я и влез по трубе, чтоб сказать: не из-за чего больше плакать, письмишки-то мы свистнули. Ну, а в двух словах всего не объяснишь, вот и припоздал малость.

С неподдельным любопытством Кот спрашивает:

— Хороша?

— Хорошая. Погладила меня по голове, спасибо, говорит, помоги тебе Бог...

— Что ж ты за дурень, Жоан? Я спрашиваю, хороша ли она для этого дела, какие ножки...

Негр не отвечает. На улицу въезжает машина. Педро Пуля хлопает Жоана по плечу, и негр знает: атаман одобряет его поступок. Лицо его расплывается в довольной улыбке:

— Дорого бы я дал, чтобы увидеть, какая рожа будет у этого португальца, когда его хозяин развернет пакет. А там — фи́га.

И, уже свернув за угол, все трое начинают хохотать — вольный, громкий, неумолчный смех «капитанов» звучит как гимн народа Баии.

## Огни карусели

Она называлась «Большая Японская Карусель», хотя размерами не поражала и ничего японского в ней не было. Карусель как карусель: уныло странствовала из города в город по баиянскому захолустью в те зимние месяцы, когда льют затяжные дожди, а рождество, кажется, вовсе не наступит. В былые времена ярко выкрасили ее в два цвета — красный и синий, но красный превратился теперь в бледно-розовый, синий — в грязновато-белый, а лошадки лишились кто головы, кто ноги, кто хвоста. Потому дядюшка Франса и решил обосноваться не на одной из центральных площадей Баии, а в Итапажипе: народ там победнее, целые улицы сплошь заселены рабочим людом, детишки рады будут и такой забаве — облупленной и обветшавшей. Брезентовый верх давно прохудился, а теперь зияла там здоровенная дыра, так что в дождь карусель не работала. Канули в прошлое те времена, когда была она красивой, когда гордились ею все ребята Масейо, когда на площади было у нее свое постоянное место рядом с «чертовым колесом» и театром теней, когда по воскресеньям приходили мальчики в матросских костюмчиках и девочки, одетые голландскими крестьянками или в платьицах тонкого шелка: те, кто постарше, садились верхом, маленькие вместе с боннами катались в лодочках. Отцы отправлялись на «чертово колесо» или в театр теней, где всегда можно было потискать или ущипнуть зазевавшуюся зрительницу. В те времена увеселительный аттракцион дядюшки Франсы и вправду веселил весь город, и карусель, сияя разноцветными огнями, крутилась без остановки и приносила своему хозяину немалый доход. Жизнь была прекрасна, женщины — неотразимы, мужчины — приветливы, а стоило лишь опрокинуть рюмочку, как женщины делались еще краше, мужчины — еще дружелюбнее. Так вот и пропил он сначала «чертово колесо», а потом и театр теней. Расставаться же со своей любимицей ему не захотелось, и потому однажды ночью он с помощью друзей разобрал карусель и пустился странствовать по городам Алагоаса и Сержипе, а вдогонку за ним полетела отборная брань кредиторов. Немало мест сменил он; вдоволь наездился по дорогам двух сопредельных штатов, побывал во всех городах, выпивал во всех барах и тавернах, прежде чем пересек границу Баии. Тут, в сертанах, в крошечном городишке карусель его послужила для увеселения банды знаменитого Лампиана. Дядюшка Франса завяз в этом городке

безнадежно, — не было денег на дорогу, и не только на дорогу: нечем было расплатиться за номер в единственной убогой гостинице; не на что было выпить рюмку кашасы или хотя бы кружку пива. Пиво, кстати, всегда подавали теплое, но он и от такого бы не отказался. Дядюшка Франса ждал субботнего вечера, надеясь поправить дела и перекочевать в какое-нибудь место повеселее, как вдруг в пятницу в городок нагрянул Лампиан с двадцатью двумя бандитами. С этой минуты карусель без дела больше не простаивала. Матерые душегубы — у каждого на совести было по двадцать — тридцать человеческих жизней — обрадовались карусели, как малые дети, и поняли, что нет большего счастья, чем в сиянии огней, под дребезжащие звуки дряхлой пианолы взобраться на спины покалеченных деревянных лошадок. Карусель дядюшки Франсы спасла городок от разграбления, девиц — от бесчестья, а мужчин — от смерти. Что же касается двоих полицейских, что чистили сапоги у входа в караулку и были застрелены наповал, то ведь бандиты сначала увидели их, а потом уже карусель. Быть может, попадись они на глаза Лампиану чуть позже, он пощадил бы и их, чтоб не омрачать счастья своих молодцов. Разбойники, выросшие в глухих деревнях и никогда в жизни не видевшие карусели, предались чистой детской радости и ни за что не хотели слезать с деревянных лошадок, бежавших по кругу под музыку пианолы и мелькание разноцветных огней — синих, желтых, зеленых, малиновых и ярко-алых, алых, как кровь, хлещущая из простреленной груди...

Вот эту историю дядюшка Франса и поведал Вертуну (тот был в восторге) и Безногому в тот вечер, когда, познакомившись с ними в таверне «Ворота в море», спросил, не смогут ли они помогать ему в течение тех нескольких дней, что он намеревается провести в Баии, на Итапажипе. Твердого жалованья он им, конечно, положить не может, но если дела пойдут хорошо, по пять мильрейсов в вечер они получать будут. Когда же Вертун показал ему, как он изображает разных зверей, дядюшка Франса воодушевился, заказал еще графин пива и принялся распределять обязанности. Вертун будет зазывать публику, Безногий — помогать ему управляться с машиной и следить за пианолой. Он же будет продавать билеты во время остановок карусели, а Вертун — на ходу. «Один сходит пропустить рюмочку, а другой поработает за двоих, — добавил дядюшка, подмигивая, — потом наоборот».

С такой готовностью Вертун и Безногий не хватались еще ни за одну идею. Они, разумеется, много раз видели карусель, но всегда — издали она была окутана завесой тайны, и катались на ней только маменькины сынки, чистюли и плаксы. Вертуну однажды удалось проникнуть в луна-парк на

Пасейо-Публико, он даже купил билет на карусель, но тут сторож выгнал его вон, потому что он был в лохмотьях. Билетер не хотел возвращать ему деньги за билет, и Безногому пришлось запустить обе руки в открытый ящик с мелочью, а потом нестись во весь дух под крики «держи вора!». Поднялась невероятная суматоха, а Безногий преспокойно спустился по Гамбоа-де-Сима, унося в кармане добычу, по крайней мере впятеро превышавшую стоимость билета. Но предпочел бы он, конечно, прокатиться на волшебном коне с драконьей головой, который из всех чудес карусели казался ему самым первым и главным. С тех пор он еще сильнее возненавидел сторожей и еще крепче полюбил недосыгаемую карусель. И вот теперь откуда ни возьмись появляется человек, угощает пивом и предлагает несколько дней пробыть совсем рядом с самой настоящей каруселью, кататься сколько влезет, садиться на любую лошадь, разглядеть вблизи вертящиеся разноцветные фонарики. И в глазах Безногого дядюшка Франса был не жалкий пьянчуга за столом таверны, а всемогущее существо, вроде того Господа, которому молился Леденчик, или Шанго<sup>9</sup>, которого так чтили Большой Жоан и Богумил. Ни падре Жозе Педро, ни «мать святого» донна Аинья не могут совершить такое чудо. Темной баиянской ночью на площади Итапажипе по воле Безногого, по мановению его руки бешено завертятся разноцветные огоньки. Может, это сон? Но как непохож он на то, что обычно снится ему беспросветными ночами!.. Слезы выступили у него на глазах, и впервые в жизни плакал он не от боли, не от ярости и сквозь пелену слез смотрел на дядюшку Франса благоговейно. Скажи тот хоть слово — и Безногий, выхватив нож, который носил за поясом, под старым пиджаком, выпустил бы кишки кому угодно...

— Красота, — произнес Педро Пуля, поглядев на карусель. И Большой Жоан смотрел на нее во все глаза. Синие, зеленые, желтые, красные лампочки были уже подвешены.

Да, конечно, старая и обшарпанная карусель дядюшки Франса все еще красива, и есть своя прелесть в разноцветных фонариках, в старой пианоле, играющей давно забытые вальсы, в деревянных скакунах и утках-лодочках для самых маленьких. «Капитаны» единодушно сошлись на том, что карусель — замечательная. И кому какое дело, что она ветхая и часто ломается, что краски ее выцвели? Карусель приносит радость.

Все остолбенели от удивления, когда Безногий, вернувшись вечером в пакгауз, сообщил, что они с Вертуном будут работать на карусели. Многие не поверили, решив, что Безногий, как всегда, издевается над ними. Спросили Вертуна, который, по обыкновению молча, прошел в свой угол и стал изучать украденный в оружейном магазине револьвер. Вертун кивнул,

подтверждая, и сказал:

— На ней катался Лампиан. Лампиан — мой крестный.

Безногий пригласил всех завтра же вечером, когда карусель установят и наладят, прийти полюбоваться на нее, после чего ушел: у него была назначена встреча с дядюшкой Франса. И не было среди мальчишек такого, чье сердце не заколотилось бы в эту минуту от зависти. Завидовали счастью Безногого все — даже Леденчик, оклеивший всю стену изображениями святых, даже Большой Жоан, которого Богумил обещал сводить сегодня на кандомбле Прокопио, в Матагу, даже Профессор, не представлявший себе жизни без книг, и, быть может, даже Педро Пуля, никогда никому не завидовавший, Педро Пуля — вожак «капитанов». Завидовали Безногому, завидовали Вертуну, который, взъерошив свои негустые курчавые волосы, зажмурив один глаз, закусив губу, скроив, как полагается, зверскую рожу, наводил свой револьвер то на соседей, то на шмыгнувшую мимо крысу, то на сиявшее бесчисленными звездами небо.

Вечером следующего дня все во главе с Безногим и Вертуном (они целый день провозились с каруселью, помогая устанавливать ее) отправились на площадь. Увидев это чудо, «капитаны» застыли от восторга с открытыми ртами. Безногий давал объяснения. Вертун показал каждому того коня, на котором скакал когда-то его крестный отец Виргулино Феррейра Лампиан. Чуть не сотня мальчишек разглядывала карусель, а ее владелец дядюшка Франса тем временем принимал деятельное участие в бесшабашной попойке, происходившей в таверне.

Безногий с таким видом, словно все это принадлежало ему, демонстрировал устройство мотора (мотор, по правде говоря, был слабосильный и изношенный). Вертун не отходил от лошадки, носившей на спине Лампиана. Безногий строго следил, чтобы никто ничего не смел трогать и никуда не лазил.

— А ты умеешь запускать мотор? — спросил вдруг Профессор.

— Пока нет, — отвечал тот, скрывая досаду. — Завтра дядюшка Франса покажет, как и что.

— Ну, тогда завтра, после закрытия, и покатаешь нас всех.

Педро Пуля поддержал его. Остальные напряженно ждали ответа. Безногий согласился, и все захлопали в ладоши, завопили от восторга. В эту минуту Вертун отошел наконец от Лампианова коня:

— Хотите, покажу одну штуку?

Он взобрался на карусель, дернул шнурок пианолы, и полилась мелодия старинного вальса. Сумрачное лицо сертанца осветилось улыбкой. Он поглядывал то на пианолу, то на своих товарищей, которые



благоговейно слушали музыку, доносившуюся откуда-то из самого чрева карусели. В эту таинственную баиянскую ночь она звучала только для них — для нищих и отважных «капитанов». Никто не проронил ни слова. Проходивший мимо работяга, увидев толпу мальчишек на площади, подошел поближе и тоже застыл — заслушался. На небо выплыла луна, озарила всех своим светом, ярче заблистали звезды, стих рокот моря, словно и Иеманжа хотела насладиться музыкой без помехи. В ту минуту город показался «капитанам» огромной каруселью, на которой неслись они, вскочив на невидимых скакунов. В ту минуту Баия принадлежала им безраздельно, и они испытывали друг к другу братскую нежность: музыка сторицей вознаграждала их всех, не знавших ни дома, ни тепла, лишенных ласки. Вертун забыл о Лампиане. Педро Пуля перестал мечтать, как станет он предводителем всех воровских шаек Баии. Безногому не хотелось броситься в море, спасаясь от тяжких снов. Музыка, лившаяся из чрева карусели, — всеми позабытый, старинный и печальный вальс — предназначалась только бездомным мальчишкам Баии, — им одним да еще случайному прохожему.

Отовсюду стекаются на площадь люди. Сегодня суббота, на работу завтра не идти, можно подольше побыть на улице. Многие предпочли бы заглянуть в бар, посидеть в таверне, но дети тянут их на скупую освещенную площадь. Ярko горят разноцветные фонарики карусели. Дети глядят на них, хлопают в ладоши. Перед кассой Вертун то рычит, то воет, подражая разным зверям, зазывает публику. По сертанскому обычаю на груди у него патронташ: дядюшка Франса решил, что это привлечет всеобщее внимание, и выглядит Вертун как самый настоящий кангасейро: на голове — кожаная шляпа, через плечо — патронташ. Он подражает голосам зверей, пока перед ним не собирается толпа мужчин, женщин и детей. Вертун продает билеты, и идут они нарасхват. Веселье охватывает всю площадь, от разноцветных огней карусели радостно становится на душе. Безногий, присев на корточки, помогает дядюшке Франса запустить мотор. Карусель, облепленная детворой, плавно набирает ход, пианола играет старинные вальсы. Вертун продает билеты.

По площади прогуливаются парочки. Матери семейств покупают мороженое и сладкую вату; поэт, спустившись к морю, сочиняет стихи об огнях карусели и о радости детей. Свет разноцветных фонариков освещает площадь, озаряет души. Все больше людей выплескивается из улиц и переулков. Вертун, одетый кангасейро, подражает крику зверей. Когда карусель останавливается, к нему кидается за билетами целая толпа детей. Если кому-нибудь не хватило места, бедняга, чуть не плача от

разочарования, нетерпеливо ждет своей очереди. Бывает, что, прокатившись, дети не хотят слезать, и тогда появляется Безногий:

— А ну-ка вали отсюда! Слазь! Хочешь второй круг — покупай билет!

Только после этого прыгивают ребятишки с седел старых коней, не знающих усталости. Их место занимают другие, скачка начинается сначала, вертящиеся разноцветные огни сливаются в одно диковинное радужное пятно, пианола продолжает играть свои старинные мелодии. Влюбленные садятся в лодочки, шепчут друг другу нежные слова, а если мотор вдруг начинает барахлить и фонарики гаснут — украдкой целуются. Дядюшка Франса и Безногий склоняются над мотором, колдуют над ним, устраняют неисправность, и карусель, заглушая дружный протестующий вопль, снова приходит в движение. Безногий уже овладел всеми премудростями.

Время от времени дядюшка Франса посылает его сменить Вертуна, чтоб и тот мог прокатиться. Вертун неизменно выбирает себе скакуна, служившего Лампиану, и пришпоривает его на скаку, точно под ним и впрямь настоящий жеребец, и нажимает пальцем на спуск воображаемого револьвера, целясь в скачущих впереди, и видит, как, обливаясь кровью, вылетают они из седел от его метких выстрелов... Конь несется все стремительней, Вертун убивает всех, ибо все вокруг него — солдаты или богачи-фазендейро. Верхом на коне, с винтовкой в руке, он грабит города и деревни, похищает женщин, останавливает поезда.

Потом снова появляется Безногий. Он молчит, им овладевает непонятное волнение. Бледный, хромя сильней обычного, он идет, как верующий — на мессу, как влюбленный — на желанное свиданье, как самоубийца — навстречу смерти. Безногий садится на синего коня с намалеванными на крупе звездами, губы его плотно сжаты. Он не слышит музыки: он только видит мелькающие огни. Ему кажется, что он катается на карусели, как все остальные дети, что и у него тоже есть отец с матерью, есть родной дом, что его тоже целуют и любят. Он — такой же, как все, и, чтобы не исчезла эта уверенность, Безногий крепче зажмуривается, и бесследно исчезают жестокие солдаты, смеющийся человек в жилете: Вертун застрелил их на всем скаку. Безногий выпрямляется в седле: он несется над волнами к звездам, и такого чудесного путешествия даже Профессор не выдумает, не вычитает в книжке. Сердце его колотится так сильно, что он невольно прижимает к груди ладонь.

В эту ночь «капитаны» кататься не пришли. Во-первых, слишком поздно остановилась наконец карусель (в два часа ночи она еще крутилась), а во-вторых, у многих, в том числе у Педро Пули, Долдона, Барандана и Профессора, нашлись неотложные дела. Решили идти на следующий день,

часа в три-четыре. Педро спросил у Безногого, научился ли тот управлять каруселью.

— А то вдруг поломаешь там чего-нибудь... Жалко будет твоего хозяина.

— Да я эту механику как свои пять пальцев знаю... Запустить — плевое дело.

— Может, там и промыслим чего-нибудь? — спросил Профессор.

— Ясное дело, — ответил Педро. — Но думаю, что всем скопом являться не надо: увидят такую ораву — беды не оберешься.

Кот сказал, чтобы днем его не ждали: он будет занят, и как раз для того, чтобы к ночи освободиться.

— Дня прожить не можешь без своей клячи. Поберег бы здоровье, — поддел его Безногий.

Кот не удостоил его ответом. Большой Жоан тоже отказался: они с Богумилом собрались к доне Анинье на фейжоаду. Наконец договорились, что днем на площадь пойдет несколько человек — «работать», а остальные пусть промышляют где-нибудь еще. К ночи соберутся все и все вместе пойдут кататься на карусели. Безногий предупредил:

— Только надо будет бензину достать.

Профессор, который три раза подряд обыграл Большого Жоана в шашки, пустил шапку по кругу. Набрали денег на два литра.

Но в воскресенье в пакгауз пришел падре Жозе Педро — один из тех немногих, кто знал, где обитают «капитаны». Падре уже давно дружил с ними, а началось все с Долдона. Однажды он после мессы пробрался в ризницу той церкви, где служил падре Жозе Педро. Долдон залез туда больше из любопытства, чем с какой-нибудь определенной целью: он всегда плыл по течению и ни о чем не заботился. В шайке был он вроде прихлебателя: время от времени ему везло, и он срезал у прохожего часы или выносил что-нибудь ценное из квартиры, но услугами перекупщиков не пользовался — отдавал добычу Педро Пуле. Это был его вклад в общий котел. У него было множество приятелей и среди портовых грузчиков, и в бедных кварталах Сидаде-да-Палья, и по всему городу — там перехватит, тут урвет, — он был неприхотлив и никому не в тягость: довольствовался женщинами, которые надоедали Коту, и в совершенстве знал Баию — все ее улицы, закоулки, достопримечательности, знал, где и когда готовится праздник или пирушка и можно будет на даровщину выпить и потанцевать. Иногда он спохватывался, что давно уже не приносил в шайку денег, невероятным усилием побарывал свою лень, добывал что-нибудь, продавал и вручал деньги Педро Пуле. Но воровство было ему так же

противно, как и всякий другой труд: он любил валяться на песке, глядя на входящие в гавань суда, и мог часами сидеть на корточках в воротах портовых складов, слушать разные побасенки. Ходил он вечно в лохмотьях и добывал себе новую одежду, только когда прежняя уже расползалась в руках. Еще любил бродить по улицам, вымощенным черными плитами, посиживать с сигареткой на скамейке в городских парках, заходить в церкви, любоваться старинными золотыми вещами.

Вот и в то утро, увидев, что после мессы прихожане разошлись, он бездумно вошел в церковь, оглядел внутреннее убранство, алтарь, статуи святых, посмеялся над святым Бенедиктом, которого скульптор изобразил негром, потом залез в ризницу. Там никого не было, и Долдон сразу заметил какую-то штучковину из золота: должно быть, за нее отваяют немалые деньги. Он уже протянул руку, но тут кто-то дотронулся до его плеча. Это и был вошедший минуту назад падре Жозе Педро.

— Зачем ты сделал это, сын мой? — с улыбкой спросил он и, разжав пальцы Долдона, поставил золотую дарохранильницу на место.

— Вот ей-Богу, ваше преподобие, просто посмотреть взял, — не ожидая для себя ничего хорошего, занял Долдон. — Неужто вы думаете — украсть хотел? Посмотрел и назад хотел поставить... Я из хорошей семьи.

Падре окинул взглядом его лохмотья и засмеялся.

— Отец у меня умер... А пока он жив был, я даже в школу ходил... Честное слово. Стал бы я красть такое... Да еще в церкви. Что я — нехристь какой?

Падре снова рассмеялся, прекрасно зная, что Долдон врет. Уже давно искал он способ завязать знакомство с бездомными детьми, считая заботу о них святой обязанностью. Он побывал и в исправительной колонии для несовершеннолетних, но там ему всячески ставили палки в колеса: он не разделял взглядов директора, что только каждодневным битьем можно наставить заблудшего на путь истинный. Да и в том, что понимать под словом «заблудший», они с директором сильно расходились во мнениях. Наслушавшись о подвигах «капитанов», Жозе Педро мечтал разыскать их, войти к ним в доверие и постараться привлечь их сердца к Богу, помочь им исправиться. Поэтому он обошелся с Долдоном как можно лучше, надеясь с его помощью проникнуть в шайку. Все получилось так, как он хотел.

В церковных кругах считалось, что падре Жозе Педро умом не блещет. Среди бесчисленных священнослужителей Баии место его было с самого краю. Перед тем как поступить в семинарию, он пять лет проработал на ткацкой фабрике. Как-то раз фабрику эту посетил епископ. В разговоре с хозяином он посетовал, что все меньше становится тех, кто почувствовал

бы в себе призвание к священнической деятельности. Хозяин, демонстрируя широту натуры, сказал, что готов заплатить за обучение в семинарии, буде найдутся желающие стать священником. Жозе Педро, стоявший возле своего станка и слышавший весь этот разговор, подошел поближе и сказал, что хочет учиться в семинарии. И хозяин, и епископ были весьма удивлены его словами: Жозе Педро был уже далеко не юн и к тому же не получил никакого образования. Однако в присутствии епископа фабриканту неловко было идти на попятный. Так Жозе Педро поступил в семинарию. Учение давалось ему с большим трудом, ученики-малолетки постоянно издевались над ним. Способности у него были весьма средние, он брал усердием и усидчивостью и, кроме того, по-настоящему, искренне и истинно веровал в Бога. Царившие в семинарии нравы были ему не по вкусу, товарищи попросту травили его, постичь тайны теологии, философии и латыни он так и не сумел. Но зато Жозе Педро был наделен добрым сердцем. Он мечтал о том, как будет наставлять в вере детей, обращать язычников-индейцев. Жилось ему тяжело, особенно после того, как по проществу двух лет фабрикант перестал платить за него, и пришлось одновременно учиться и исполнять обязанности педеля. Тем не менее он прошел полный курс обучения и, ожидая, когда ему дадут собственный приход, стал священником в одной из столичных церквей. Однако заветной его мечтой оставалось обращение беспризорных детей-сирот, которые предавались всем возможным порокам и зарабатывали себе на жизнь воровством. Падре Жозе Педро хотел открыть свету истинной веры их души. Именно с этой целью начал он посещать исправительную колонию. Первое время директор ее был сама любезность, но когда падре стал возражать против того, чтобы детей секли и по несколько дней кряду морили голодом, отношение к нему резко переменилось. К тому же он был вынужден написать обо всем, что видел, письмо в газету, и директор, запретив пускать его на порог, послал жалобу архиепископу. Из-за всех этих неприятностей ему и не спешили давать приход. Желание разыскать «капитанов» в нем не угасло. Беспризорные, сбившиеся с пути дети, до которых никому в целом свете не было дела, оставались его первой заботой. Он хотел сблизиться с ними не только для того, чтобы вернуть их в лоно церкви, — падре Жозе Педро мечтал хоть как-нибудь облегчить их положение. Священник не имел на них почти никакого влияния — да не «почти», а совсем никакого — и поначалу не представлял себе, как завоевать их доверие. Зато он прекрасно знал, что они часто голодают, что помощи и сочувствия им ждать неоткуда, что они живут, не зная ласки, и жизнь эта полна лишений и тягот. У падре ничего не было для них — ни

одежды, чтобы согреть, ни еды, чтобы накормить, ни кроватей, чтоб уложить их спать по-людски, — ничего, кроме ласковых слов и огромной любви, переполнявшей его душу. Он все же допустил одну ошибку, когда предложил им сменить бесприютность и свободу на кров и пищу. Нет, конечно, речь шла не о колонии, слишком хорошо были ему известны и правила ее внутреннего распорядка, и неписанные законы, царившие в ее стенах, чтобы хоть на минуту мог он поверить, что исправительное заведение превратит отпетых сорванцов в добрых и трудолюбивых людей. Падре решил действовать через богобоязненных старых дев: они, по его мнению, могли бы взять кое-кого из «капитанов» на воспитание или хотя бы кормить их досыта. Но мальчишкам в этом случае пришлось бы расстаться с единственной прелестью их беспутной жизни — с вольной чередой приключений на улицах самого таинственного и прекрасного города на свете, с Баией, с Бухтой Всех Святых. И падре, едва успев с помощью Долдона войти к «капитанам» в доверие, тотчас понял, что лучше об этом даже не заговаривать: мальчишки разбегутся из пакгауза, и он их больше никогда не увидит. А кроме того, старые святоши, целыми днями торчавшие в церкви, а между мессой и литанией без устали перемывавшие косточки своим ближним, совсем не подходили для той роли, которую он им отводил. Падре вспомнил, как были они обескуражены и раздосадованы, когда после его первой проповеди несколько престарелых богомолков устремились за ним в ризницу, чтобы помочь ему снять облачение, как они ахали и придыхали над ним:

— Ваше преподобие, какой вы хорошенький, в точности — архангел Гавриил, — а одна тощая старая дева, молитвенно сложив руки, благоговейно шептала:

— Иисусик, — и как возмутило его это обожание, хоть он и знал, что все это — в порядке вещей, и многие священники, даже не думая возмущаться, принимают в дар от своей паствы и цыплят, и индюшек, и вышитые платочки, и старинные золотые часы — семейную реликвию, переходившую из поколения в поколение. Но у падре Жозе Педро были иные взгляды на миссию священнослужителя, и потому в полном сознании своей правоты он гневно набросился на своих прихожанок:

— Вам что, делать нечего? Вам мало хлопот по дому? Я не Иисусик и не архангел Гавриил! Ступайте домой! Работайте! Стряпайте! Шейте!

Старые девы глядели на него в ужасе, как на антихриста во плоти, а падре продолжал:

— Вы лучше послужите Господу, если будете сидеть дома и трудиться, а не толкаться по ризницам! Ступайте прочь!

А когда они выбежали вон, прошептал скорее грустно, чем гневно:  
— «Иисусик»... Поминают Божье имя всуе.

Святоши напрямик направились к лысому, толстому и неизменно благодушному падре Кловису, у которого всегда предпочитали исповедоваться, и, перемежая рассказ горестными стонами, поведали ему о происшествии. Падре Кловис поглядел на них с состраданием и утешил:

— Поначалу со всеми так бывает... Пройдет. Скоро он поймет, что вы — безгрешны и праведны, истинные дщери Господни. Не печальтесь. Все образуется. Прочитайте-ка «Отче наш» да не забудьте сегодня прийти к вечерне. — Он засмеялся им вслед, а потом пробурчал себе под нос: — Беда с этими юнцами, рукоположенными без года неделю... И сами не живут, и другим не дают.

Прошло некоторое время, и святоши, оправившись от первоначального испуга, перестали избегать падре Жозе Педро, но подлинной, сердечной близости между ними так и не установилось. Он был очень серьезен, он обнаруживал свою доброту, только когда это становилось необходимо, он, как огня, боялся неизбежных в церковном совете интриг, и потому его больше уважали, чем любили, хотя иные прихожанки, те, у которых мужья умерли, или те, кому с мужьями не повезло, подружились с ним. Было и еще одно обстоятельство, отвращавшее от нового падре души: Господь отказал ему в даровании проповедника. Никогда не удавалось ему так живописать ужасы преисподней, как это делал падре Кловис, речь его была нескладной и простой, но зато сразу было видно, что он — верующий. А вот слушая падре Кловиса, трудно было сказать, верит ли тот хотя бы в загробную жизнь.

Так вот, поначалу Жозе Педро совершил ошибку, потому что решил свести «капитанов» со своими прихожанками, думая убить сразу двух зайцев: мальчишки будут сыты и обихожены, а никчемное существование богомолок обретет смысл. Падре Жозе Педро надеялся, что они станут заботиться о его подопечных так же ревностно и истово, как и о толстых клириках. Он догадывался, что пустопорожние разговоры и вышивание платков для падре Кловиса — всего лишь способ убить время, которое не на что и не на кого больше тратить: непомерно затянувшееся девичество лишило их мужа и детей. Вот он и даст им сыновей. Падре долго вынашивал этот план и в конце концов привел к одной своей прихожанке удравшего из колонии мальчишку, — было это еще до его знакомства с Долдоном. Опыт дал самые плачевные результаты: мальчишка вскоре убежал из дома, прихватив с собой фамильное серебро. Гораздо лучше, по его мнению, было ходить в лохмотьях, голодать и быть свободным, как

ветер, чем в нарядном костюмчике твердить нараспев молитвы и трижды в день томиться в церкви на мессе. Вскоре падре Жозе Педро понял, что провалился эксперимент из-за старой девы: совершенно невозможно превратить вороватого уличного мальчишку в церковного служку. А вот сделать из него честного человека очень даже возможно... И падре решил не оставлять своих стараний и попробовать еще раз, но теперь уж хорошенько все рассчитать. Долдон привел его в пакгауз, мало-помалу он завоевал доверие «капитанов», но тут же понял: о противоестественном союзе малолетних жуликов и богобоязненных старух нечего даже и думать. Ведь в душах этих мальчишек не было чувства сильнее свободы. Надо искать другие пути, решил падре.

Поначалу «капитаны» смотрели на него недоверчиво: каждый из них тысячу раз слышал, что тот, кто пошел в священники, ищет легкой жизни, что дело это — не для мужчины. Но падре Жозе Педро недаром был когда-то рабочим: он сумел найти с «капитанами» общий язык, обращаясь с ними, как со взрослыми, как с равными, как с друзьями. И постепенно все они — даже те, кого воротило от молитв, как Педро Пулю или Профессора, — поверили ему и привязались к нему. Трудней всего было совладать с Безногим. Педро, Профессор и Кот попросту пропускали слова священника мимо ушей (Профессора, впрочем, он расположил к себе тем, что приносил ему книги); Леденчик, Вертун и Большой Жоан (особенно первый) очень внимательно слушали его; упорно не поддавался один только Безногий. Но в конце концов падре завоевал доверие шайки, а в Леденчике он сумел обнаружить дарование будущего священнослужителя.

Однако сегодня в пакгаузе почему-то не очень обрадовались его приходу. Леденчик, как всегда, поцеловал у падре руку, за ним подошел Вертун, все остальные молча поклонились.

— Сегодня хочу вас кое-куда пригласить, — сказал Жозе Педро.

Мальчишки насторожились. Безногий пробурчал себе под нос:

— К вечерне, должно быть. Нашел дурака... — и умолк, наткнувшись на сердитый взгляд Педро Пули.

Падре добродушно улыбнулся, присел на перевернутый ящик. Большой Жоан заметил, что сутана на нем поношенная и грязная, в нескольких местах заштопана черными нитками и к тому же великовата ему. Негр толкнул Педро локтем, который тоже внимательно разглядывал сутану, и тот сказал:

— Ребята, наш друг падре Жозе Педро кое-что принес нам. Ура!

Большой Жоан знал, что причина этих почестей — ветхая, заштопанная сутана, свободно болтавшаяся на костлявых плечах



священника. Все закричали «ура!», Жозе Педро с улыбкой помахал «капитанам», а Большой Жоан никак не мог отвести глаз от сутаны: вот человек Педро Пуля, все знает, все понимает, все умеет. Если бы понадобилось, Большой Жоан на нож за него кинулся, как тот негр из Ильеуса, что прикрыл собой знаменитого разбойника Барбозу... Падре достал из кармана требник в черном переплете, а из него — несколько десятков:

— Вот вам. Покатайтесь сегодня на карусели в Итапажипе. Приглашаю всех!

Он ждал, что его подопечные оживятся при виде денег, что необыкновенное веселье воцарится в пакгаузе. Он ждал этой радости: она должна была уверить его, что, взяв пятьдесят мильрейсов из тех пятисот, что дала ему дона Гильермина Силва на покупку свечей для алтаря Богоматери, он совершил благое дело. Но радость не вспыхнула на лицах мальчишек, и падре, зажав кредитки в руке, растерянно смотрел на них. Педро Пуля, почесав в затылке, взлохматил длинные, спадающие на глаза волосы, но не нашел что сказать и взглянул на Профессора, прося о помощи. Тот выступил вперед.

— Вы — хороший человек, падре... — Он хотел даже сказать, что падре Жозе — такой же добрый, как Большой Жоан, но побоялся сравнивать его с негром — вдруг обидится. — Дело в том, что Безногий и Вертун теперь работают на карусели. И мы все приглашены, — он чуть помедлил, — приглашены хозяином карусели, который им теперь первый друг, кататься сколько влезет. Мы не забудем вашего приглашения, падре, — Профессор стал мяться, подбирать слова, понимая, что тут нужна деликатность, и Педро Пуля одобрительно закивал ему, — сходим как-нибудь еще. Вы только не сердитесь на нас. Не сердитесь, ладно? — Он поднял глаза на падре и увидел, что тот снова весело улыбается.

— Ладно. Может, оно и к лучшему... Деньги-то эти... — и прикусил язык, не зная, можно ли рассказать, откуда взял он эти деньги. Быть может, это знамение, предупреждение свыше? Быть может, он поступил дурно? На лице его появилось такое непривычное выражение, что мальчишки придвинулись ближе.

Они глядели на него с недоумением. Педро Пуля, как всегда в затруднительных случаях, морщил лоб. Профессор что-то промямлил. И только Большой Жоан, хоть и считался тугодумом, сразу все понял:

— Это церковные деньги, да? — и, разозлясь, что не сумел промолчать, с силой хлопнул себя по губам.

Тут дошло и до остальных. Леденчик подумал, что падре сильно

согрешил, но доброта его, пожалуй, этот грех перетянет. Безногий, хромая сильнее обычного, словно борясь с собой, подошел к падре вплотную, выкрикнул ему в лицо:

— Мы можем... — тут он спохватился и договорил почти шепотом, — можем положить их на место. Нам это — раз плюнуть. Не печальтесь, падре, — и улыбнулся.

Улыбка Безногого, дружелюбие, засветившееся в глазах «капитанов» (кажется, у Большого Жоана сверкнула на реснице слеза?), вернули падре спокойствие и уверенность в том, что он поступил правильно и что Бог его не осудит.

— Одна почтенная вдова дала мне пятьсот мильрейсов на свечи. Я взял пятьдесят, чтобы вы могли прокатиться на карусели. Господь рассудит, кто прав. Что ж, на этот раз куплю поменьше свечей.

Педро Пуля вдруг почувствовал себя в долгу перед падре, и долг этот надо было вернуть немедленно. Пусть он увидит, что все «капитаны» благодарны ему. Чем могут они отплатить падре? Разве что упустить дело, на котором сегодня могли бы как следует заработать. И Педро пригласил священника:

— Сейчас мы все идем на карусель поглядеть на Вертуна с Безногим. Пошли с нами?

Падре Жозе Педро согласился, потому что понимал: это еще один шаг навстречу «капитанам». Все вместе они отправились на площадь. Впрочем, не все — кое-кто остался, в том числе и Кот, собиравшийся к Далве. Но те, кто шел на площадь Итапажипе, казались в ту минуту благонравными детьми, возвращающимися из церкви после проповеди. Все шли так чинно, что, будь они поопрятней и получше одеты, их было бы не отличить от воспитанников коллежа на прогулке.

На площади они ни на шаг не отходили от падре, с гордостью показывая ему, как одетый кангасейро Вертун рычит и воет на разные голоса, зазывая публику, как Безногий в одиночку управляется с каруселью, — в одиночку, потому что дядюшка Франса пил пиво в баре. Жаль было только, что на карусели еще не загорелись фонарики, и без этих разноцветных огней она была не такая красивая. Но как гордились мальчишки Вертуном, продававшим билеты, и Безногим, который то останавливал карусель, то снова запускал мотор, ссаживал тех, кто уже прокатился, сажал на их место новых. Профессор, вооружившись огрызком карандаша, изобразил на какой-то фанерке Вертуна в кожаной шляпе, с патронташем через плечо. Он был не лишен дарования и иногда даже зарабатывал деньги, рисуя прямо на мостовой прохожих или молоденьких

сеньорит, прогуливавшихся под ручку с женихом. Люди на минуту останавливались, всматривались в еще не оконченный рисунок, улыбались, барышни говорили:

— Как похоже! — а Профессор подбирал медяки и начинал отделять рисунок, помещая рядом портреты портовиков и проституток, пока не появлялся полицейский и не гнал его прочь. Однажды собралась целая толпа зрителей, и кто-то сказал:

— У мальчишки есть талант. Жалко, что правительству нашему нет до этого дела... — а другие стали вспоминать, как такие же уличные мальчишки, которым в свое время помогли добрые люди, стали великими певцами, поэтами, художниками.

Профессор пририсовал еще и карусель, и фигуру упившегося дядюшки Франсы, протянул фанерку падре Жозе Педро. Все сбились в кучу, разглядывая рисунок, слушая, как падре Жозе Педро хвалит Профессора, когда вдруг раздался чей-то голос:

— Да ведь это его преподобие... — и тощая старуха навела на них свой лорнет, точно ствол неведомого оружия.

Падре Жозе Педро смешался, мальчишки с любопытством уставились на костлявую старушечью шею, украшенную дорогим ожерельем, которое ярко сверкало на солнце. Воцарившееся молчание прервал падре: овладев собой, он поздоровался:

— Добрый день, дона Маргариды.

Но старая вдова Маргариды Сантос снова вскинула свой лорнет:

— Как вам не совестно, святой отец? Подобаает ли вам, служителю Бога, находиться в таком обществе? Порядочный человек, а знается со всяким сбродом...

— Это дети, сударыня.

Старуха окинула его высокомерным взглядом и презрительно поджала губы.

— Хороши дети, — процедила она.

— Господь наш говорил: «...пустите детей приходиться ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть царство божие...» — сказал падре громче, как будто желая заглушить звенящую в голосе вдовы злобу.

— Нет, это не дети, это воры. Мерзавцы, ворье, подонки. Это не дети. Может быть, это и есть те самые «капитаны»?.. Бандиты! — повторила она с отвращением.

Мальчишки продолжали разглядывать старуху с беззлобным интересом, у одного лишь Безногого, подошедшего поближе (дядюшка Франса сменил его), вспыхнула в глазах ненависть. Педро Пуля шагнул к

старухе, попытался объяснить ей:

— Его преподобие хотел помочь...

Но та шарахнулась в сторону, не дав ему договорить:

— Не подходи! Не смей приближаться ко мне, негодяй! Не будь здесь нашего священника, я давно позвала бы полицию!

Педро Пуля расхохотался прямо ей в лицо: не будь здесь священника, старуха давно лишилась бы своего ожерелья, да и лорнета в придачу. Дона Маргарита надменно удалилась, не преминув на прощанье бросить падре Жозе Педро:

— Смотрите, как бы такие знакомства не отразились на вашей судьбе...

Педро Пуля захохотал еще громче; засмеялся и падре, хотя на душе у него было невесело: злобное тупоумие старухи сильно огорчило его. Но карусель с нарядными детишками продолжала крутиться, и мало-помалу «капитаны» позабыли об этой встрече, снова заглядевшись на разноцветные огни, на лошадок, размечтавшись о том времени, когда и они вскочат им на спины. «А все-таки они еще дети!» — подумал падре Жозе Педро.

Вечером полил дождь. Но потом ветер разогнал черные тучи, выглянула полная луна, заблестали звезды. На рассвете «капитаны» пришли на площадь. Безногий запустил мотор, и все мигом позабыли, что они не такие, как все, что у них нет дома и отца с матерью, что они, как взрослые, добывают себе пропитание воровством, что их шайка наводит ужас на горожан. Они позабыли слова старухи с лорнетом. Позабыли все на свете, вскочив на лошадок, несшихся в сиянии разноцветных огней по кругу карусели. Ярко светила луна, блистали звезды, но куда ж им было до синих, зеленых, желтых, красных фонариков Большой Японской Карусели?!

## На причалах

Педро Пуля швырнул монету в четыреста рейсов, и она, ударившись о стену таможни, отскочила к ногам Долдона. Медяк Леденчика упал между монетами Долдона и Педро. Долдон, сидя на корточках, внимательно следил за ее полетом. Вытащив изо рта сигарету, он сказал:

— Это по мне. Люблю, когда сначала не везет.

Они продолжили игру, но вскоре медяки Долдона и Леденчика переключались в карман Педро Пули.

Прямо перед ними покачивались на якорях рыбацьи баркасы. Из ворот рынка толпой выходили люди. В этот час троица «капитанов» поджидала Богумила: его баркас должен был вот-вот причалить к берегу. Капоэйрист отправился ловить рыбу: кормило-то его все-таки море. Игра в «пристеночек» продолжалась до тех пор, пока Педро Пуля не обыграл своих партнеров в пух и прах. Шрам у него на щеке заблестел, обозначился четче. Он любил схватиться в честном поединке с сильными партнерами вроде Леденчика — тот долго не знал себе равных в этой игре — или Долдона. Когда игра кончилась, Долдон вывернул карманы:

— Одолжи-ка мне немного, видишь — ни гроша не осталось, — и добавил, поглядев на парусники: — Богумил подгробет попозже. Сходим на причалы.

Леденчик сказал, что останется и будет ждать, а Педро Пуля согласился. Они шли по берегу, ноги их вязли в глубоком песке. Какое-то судно отваливало от пятого причала, где суетились грузчики. Педро Пуля спросил Долдона:

— Не хотел бы плавать?

— Там видно будет... Мне и здесь неплохо. От добра добра не ищут.

— А вот я бы пошел в матросы. Как здорово лазать по мачтам!.. А когда шторм!.. Помнишь ту историю — Профессор нам читал? Ну, как они попали в ураган? Красота!

— Да, здорово...

Педро стал вспоминать историю Профессора. А Долдон подумал: дураком надо быть, чтоб по своей воле уехать из Баии. Вот он подрастет немного, и начнется расчудесная жизнь портового молодца: нож за поясом, гитара за спиной, красotka на пляже. Чего еще надо? Вот жизнь, достойная мужчины.

Они подошли к воротам Седьмого пакгауза. На ящике сидел Жоан де Адан, чернокожий грузчик-силач, принимавший участие во всех забастовках, гроза и предмет восхищений всех портовых докеров. В зубах трубка, мышцы чуть не рвут рубаху.

— Кого я вижу?! Долдон! Капитан Педро!

Он неизменно называл Педро капитаном и любил поболтать с ним. Подвинувшись, Жоан де Адан уступил Пуле краешек своего ящика, Долдон пристроился на корточках. Рядом продавала апельсины и кокбду старая негритянка в ситцевой юбке и цветастой блузе с квадратным вырезом, открывавшим не по годам упругую грудь. Долдон, сдирая кожу с апельсина, покосился на нее:

— Тетушка, а ты еще ничего, верно?

Торговка улыбнулась:

— Полюбуйтесь-ка на нынешних, кум Жоан! Никакого почтения к старшим. Где это видано, чтоб такой сосунок заигрывал со старой перечницей?

— Наговариваешь на себя, тетушка, клеветешь. Ты вполне еще сгодишься...

Негритянка захохотала от души:

— Я давно уж закрыла лавочку, Долдон. Года мои вышли. Вот хоть его спроси. — Она показала на грузчика. — Я его помню, когда он был мальчишкой вроде тебя, а уж устроил первую в порту забастовку. В те времена никто еще не знал, что это такое и с чем ее едят. Помнишь, кум?

Жоан де Адан кивнул и, прикрыв глаза, предался воспоминаниям о давних временах, когда он возглавил первую стачку портовиков. В порту он был одним из самых старых докеров, а так поглядеть — не скажешь.

— Седому негру — в обед сто лет, — сказал Педро.

Торговка сняла косынку: голова ее была совсем седой.

— Вот потому ты и ходишь в этой тряпке, — поддел ее Долдон.

— Помнишь Раймундо, тетушка Луиза? — спросил Жоан.

— Какого? Белобрысого? Который погиб во время забастовки? Еще бы не помнить! Он ведь каждый день приходил ко мне поболтать... Ох и языкастый был парень!

— Его убили вот здесь, на этом самом месте, когда конная полиция ринулась на нас. — Жоан де Адан поглядел на Педро. — Ты разве никогда не слышал о нем?

— Никогда.

— Тебе в ту пору было четыре года. Целый год потом ты мыкался от одного к другому, потом исчез куда-то, и узнали мы про тебя, уже когда ты

стал вожаком «капитанов». Да я не сомневался, что ты не пропадешь, Сколько тебе лет сейчас?

Педро погрузился в вычисления, и Жоан сам ответил на свой вопрос: — Пятнадцать или около того. Правильно я говорю, кума?

Луиза кивнула.

— Когда захочешь, приходи в порт работать. Место твое всегда будет тебя ждать, — продолжал негр.

— Какое еще место? — спросил Долдон, потому что Педро от изумления лишился дара речи.

— Место его отца, Раймундо, который погиб, борясь за народ и за его права. Настоящий был человек. Один десятерых нынешних стоил.

— Раймундо — мой отец? — переспросил Педро, что-то смутно слышавший об этом.

— Да, он твой отец. В порту звали его Белобрысым. Ты бы послушал, какие речи произносил он перед началом забастовки, — нипочем не поверил бы, что это простой грузчик. Он погиб — полицейские застрелили. Ты можешь занять его место.

Педро что-то чертил веткой по асфальту.

— Почему ж ты никогда не говорил мне об этом? — вскинув глаза на старика, спросил он наконец.

— Ты мал был. А теперь становишься мужчиной... — расхохотался тот.

Педро тоже засмеялся: приятно и лестно было узнать, что отец его славился храбростью и силой.

— А мать мою ты не знавал? — спросил он, точно не сразу решившись выговорить эти слова.

Жоан помедлил с ответом:

— Нет. В ту пору, когда мы с Белобрысым познакомились, у него жены не было. А сын был.

— Я с ней знакомство водила, — подала голос торговка. — Не женщина была, а загляденье. Красотка! Ходили слухи, что она родом из богатой семьи, из тех вон кварталов. — Старуха показала в сторону Верхнего города. — Еще говорили, папаша твой выкрал ее из дому. А умерла она, когда тебе и шести месяцев не сравнялось. Раймундо в ту пору работал на табачной фабрике в Итапажипе. Потом только в порт перешел.

— Как захочешь — только слово скажи... — повторил старый грузчик.

Педро кивнул, а потом спросил:

— Лихая, наверно, штука эта забастовка, а? — и, внимательно выслушав рассказ Жоана, сказал:

— Я бы хотел тоже устроить такое. Замечательная штука.

К пристани подходил пароход, и Жоан де Адан поднялся:

— Сейчас пойдём грузить голландца.

Пароход, гудя сиреной, подваливал к причалу. Отовсюду потянулись к пакгаузу грузчики. Педро Пуля глядел на них любовно: его отец был такой же, как они, и погиб за них. Вот они идут — белые, мулаты, негры, негров особенно много. Сейчас они заполнят трюм мешками какао, кипами табака, тюками сахара и всем, чем ещё знаменит их штат, пароход повезет эти товары в дальние страны, а там такие же грузчики — быть может, и среди них найдутся высокие и светловолосые парни — спустятся в трюм, разгрузят корабль. Его отец был одним из грузчиков, только сейчас узнал он это. Его отец, взобравшись на ящик, произносил речи, и дрался с полицией, и был застрелен насмерть, когда кавалерия атаковала забастовщиков. Как знать, вдруг кровь отца пролилась на том самом месте, где он стоит сейчас? Педро поглядел себе под ноги, на асфальт, — может быть, под ним текла кровь, хлынувшая из тела отца? Стоит ему только слово сказать — и он займет его место, и станет грузчиком, и будет таскать ящики и кули, каждый килограммов по шестьдесят. Ох, не даром достаются им деньги. Что ж, он тоже может устроить забастовку, и сражаться с полицией, и умереть, отстаивая права своих товарищей. Вот тогда он и отомстит за отца. (Педро довольно смутно представлял себе, о чем идет речь). Он представил себе забастовку, схватку с полицией; улыбка появилась у него на губах, заиграла в глазах.

Долдон, доедавший уже третий апельсин, вернул его к действительности:

— Ты о чем задумался? Больно давно все это было, братец.

Старая негритянка ласково оглядела Педро:

— Вылитый отец. Только вот волосики кудрявые — в мать. Если б не этот рубец у тебя на щеке, похож был бы на Раймундо как две капли воды. Красавец был...

Долдон приглушенно захихикал. Потом положил на лоток двести рейсов. Еще раз покосившись на грудь негритянки, спросил:

— У тебя дочки нет, тетушка?

— А тебе на что знать, бесстыжие твои глаза?

— Я бы с ней любовь закрутил, — расхохотался в ответ тот и ловко уклонился, когда негритянка замахнулась на него туфлей.

— Нет у меня дочки, а и была бы — тебе не по зубам, шалопут!

— Ты в Гантоис не собираешься? Там сегодня будет весело: и батида<sup>10</sup>, и фанданго. Сегодня ведь праздник в честь Омолу<sup>11</sup>, — сообщила



она чуть погодя.

— Пожрать, значит, дадут? И алуа<sup>12</sup> будет?

— Найдется... — Она посмотрела на Педро. — И ты приходи. Это ничего, что ты кожей бел. Омолу ведь не только негритянская святая, она всем беднякам помогает, всем.

Когда она произнесла имя Омолу, богини черной оспы, Долдон поднял руку в ритуальном приветствии. Близился вечер. Подошедший к лотку мужчина купил порцию кокады. Вспыхнули фонари. Негритянка стала собираться домой. Долдон помог ей поднять на голову лоток. Леденчик, заметив вдалеке лодку Богумила, замахал руками. Педро Пуля в последний раз поглядел на грузчиков, таскавших кули и мешки по сходням. Широкие спины, черные, коричневые и светлокожие, блестели от пота. Мускулистые шеи были напряжены под тяжестью клади. С шумом вращались стрелы порталных кранов. Устроить забастовку, как отец... Сражаться за справедливость... И когда-нибудь старик, вроде Жоана, будет рассказывать мальчишкам истории про него, как рассказывают сейчас про его отца. В наступившей темноте глаза его блестели особенно ярко.

Они помогли Богумилу выгрузить улов. Хороший улов, Иеманжа не подвела. Рыботорговец с рынка купил все оптом. После этого они вчетвером отправились в ресторанчик, оттуда Леденчик пошел к падре Жозе Педро, который по вечерам учил его читать и писать. Он на минутку заглянул в пакгауз, чтобы прихватить коробку с перьями, украденными утром с прилавка писчебумажного магазина. Педро Пуля, Богумил и Долдон направились на кандомбле в Гантоис — ведь Богумил был оганом<sup>13</sup>, — и навстречу им вышла в алых одеждах богиня Омолу и приветствовала самых обездоленных из своих сыновей прекрасным песнопением. Она возвестила им, что нищета скоро минет, что черная оспа станет поражать отныне только богатых, бедняки же будут всегда сыты и счастливы. В ночи, посвященной богине Омолу, рокотали барабаны-атабаке, и богиня предрекла пришествие грозного часа — часа, когда бедняки отомстят за все обиды. Танцевали негритянки, веселились участники макумбы. Час отмщения близок.

Долдон вместе с Богумилом остался на террейро, и Педро Пуля шел по городу один. Он спускался по крутым улочкам, которые вели в Нижний Город, так медленно, точно тащил на плечах невидимый груз, и от тяжести этой плечи его сутулились. Он думал об услышанном сегодня на причале, и душа его радовалась, потому что отец его оказался человеком

мужественным и так надолго оставил по себе в порту добрую славу. Но старый грузчик Жоан говорил еще и о правах докеров. Педро никогда прежде не слышал об этом, а ведь за эти права отец его отдал жизнь. А потом, на макумбе, облаченная в алые одежды Омолу сказала, что близится час, когда бедняки за все отомстят богатым. И все это легло на сердце Педро, легло тяжелым грузом, как шестидесяти килограммовый мешок на спину грузчика.

Спустившись, он побрел по пляжу в сторону пакгауза: может быть, удастся заснуть? Какой-то щенок рявкнул на него, боясь, как бы проходящий мимо человек не отнял у него кость. Вдалеке мелькнул чей-то силуэт. Кажется, женщина. Педро восторженно, точно юный хищник, почуявший невдалеке самку, и, прибавив шагу, стал нагонять спешившую фигуру. Песок хрустел под ногами, и вскоре женщина поняла, что кто-то идет за ней следом. Когда она проходила под фонарными столбами, Педро заметил, что это негритяночка не старше пятнадцати лет — его сверстница. Но острые груди натягивали платье, а бедра так и ходили из стороны в сторону, такая уж у негров походка: идут себе по улице, а кажется — на ходу пританцовывают. И желание, родившееся из потребности задавить, заглушить недавнюю его тоску, обуяло Педро. Глядя на ходившие под тканью ягодицы, он забыл об отце, который погиб, отстаивая права забастовщиков, и о богине Омолу, возвещавшей скорое отмщение. Теперь он хотел догнать негритянку, повалить ее на мягкий песок, почувствовать под пальцами ее тугие девичьи груди, овладеть этим горячим чернокожим телом.

Он прибавил шагу, потому что негритянка уже вышла из освещенного переулка и теперь двинулась по пляжу. Но, заметив, что Педро с каждой минутой все ближе, бросилась вперед чуть ли не бегом. Педро сразу понял: она спешит к тем улицам, которые тянутся между морем и холмом, — хочет срезать путь и ускользнуть. Он не окликал ее, тишину нарушал только скрип песка под ногами, заставлявший сердце девушки сжиматься от страха, а сердце Педро — от нетерпения. Он шел гораздо быстрее, чем она, и должен был через минуту догнать ее. Крепко стиснув зубы, Педро улыбнулся — оскалился, как зверь, который выследил и затравил в пустыне свою добычу.

Он уже протянул руку, чтобы схватить девушку за плечо, повернуть к себе, как та вдруг кинулась бежать. Педро ринулся вдогонку, настиг, но не рассчитал и с ходу налетел на нее, сбив с ног. Они покатались по песку. Одним прыжком вскочив на ноги, Педро, улыбаясь, подошел к поднимающейся негритянке.

— Куда ты? Полежи, тут так хорошо.

Лицо девушки было искажено ужасом, но, заметив, что преследователь — мальчишка ее возраста, она немного успокоилась и зло крикнула:

— Чего тебе надо?

— Брось, брось, не ломайся, чернушечка моя. Давай поваляемся на песочке.

Он схватил ее за руку и снова повалил. Ей опять стало страшно, безумный страх спутал мысли. Она возвращалась от деда к себе домой, к матери и сестрам. Почему она так припозднилась? Почему пошла через пляж? Разве не знала, что пляж у причалов — это вотчина портовых подонков, жуликов, матросни, «капитанов песка», всех тех, у кого нет денег на женщин и кто изнывает от похоти, бродя по священным улицам Баии? Конечно, не знала: ей было всего пятнадцать, и совсем недавно она из девочки стала девушкой. Педро Пуле тоже недавно исполнилось пятнадцать, но ему давно уже были известны тайны пустынных песков за причалами, и тайны любви. Именно потому не собирался он отступить от этой негритянки, что давно уже знал, что такое мужское желание и любовные ласки. А она не собиралась уступать ему, потому что хотела сохранить чистоту для какого-нибудь мулата, который сумеет в один прекрасный день покорить ее сердце. Неужели отдать невинность первому встречному тут, на пляже? От страха глаза негритянки смотрели невидяще.

Педро провел ладонью по ее курчавым волосам:

— Ты славненькая. У нас с тобой получатся ладные детишки.

— Пусти меня, пусти, проклятый! — отбивалась девушка, а сама все оглядывалась по сторонам: нет ли поблизости кого-нибудь, кто услышал бы ее, и поспешил бы на выручку, и помог сохранить главное ее сокровище — девичью честь. Но в песках баиянского порта по ночам видны только слившиеся в объятии тени, слышны только стоны любви.

Педро гладил ее груди, и вдруг сквозь ее страх стала пробиваться желание, — так пробивает себе дорогу в скалах крошечный родник, который потом обернется полноводным шумным потоком. Но и страх не исчез, а усилился. Девушка сообразила, что если не поборет своего желания, то пропадет, погубит себя, оставит на песке капли своей крови, над которыми утром посмеются грузчики. И сознание своей слабости придало ей новые силы. Наклонившись, она впиалась зубами в руку, сжимавшую ее грудь. Педро вскрикнул от боли, отдернул руку, а девушка вскочила и кинулась бежать. Но он снова настиг ее — теперь в его душе вождение перемешивалось со злостью.

— Что нам время попусту терять, — прошептал он и попытался снова свалить негритянку.

— Пусти меня, бессовестный, пусти! Погубить меня хочешь, гад? Пусти меня, иди своей дорогой, я тебя знать не знаю!

Педро не отвечал ей, по опыту зная, что такие, как она, всегда поначалу строят из себя недотрог: у этой тоже, наверное, есть парень. Педро и в голову не приходило, что попавшая ему в руки негритянка — девица. Она продолжала сопротивляться: кусалась, отбивалась, колотила кулачками по груди насильника.

— Да чего ты трепыхаешься, дуреха? Все равно не пущу. Уступи лучше по-хорошему. Твой дружок ничего не узнает... Никто ничего не узнает... Зато будет что вспомнить...

И он, стараясь разжечь ее и одновременно укротить, не переставал гладить и ласкать ее, руки его скользили по ее телу, с силой прижимая его к земле.

— Пусти, пусти, пусти... — твердила она одно и то же.

Педро дернул вверх подол старенькой ситцевой юбки, обнажив крепкие крутые бедра, попытался разомкнуть ее колени. Тут негритянка рванулась, но, словно ослабев от настойчивых прикосновений его рук, жалобно проговорила:

— Отпусти меня, я еще ни с кем... Пожалей меня... Найдешь себе еще кого-нибудь... Я боюсь.

Педро взглянул ей в лицо. Она плакала от страха и от того непонятного, впервые изведенного чувства, которое заставило напрячься ее груди.

— Ты что, правда, — нетронутая?

— Клянусь Господом нашим и Девой Пречистой. — Девушка скрестила пальцы и поднесла их к губам.

Педро был в нерешительности. Под руками — напрягшаяся грудь. Крепкие бедра...

— А ты не врешь? — снова спросил он, ни на минуту не переставая поглаживать ее.

— Ей-Богу, не вру! Пусти меня, мать давно ждет. Она заплакала, и Педро стало жаль ее. Но жалость в нем боролась с вожделением, и, щекоча ее ухо губами, он шепнул:

— Я потихоньку...

— Нет! Нет!

— Уйдешь, какой пришла, обещаю!

— Нет! Будет больно, я боюсь!

Но он все ласкал ее, и щекочущая волна мурашками поползла по спине. Она поняла, что если и на это не согласится, он овладеет ею по-настоящему, и прощай тогда девичество...

Потом, когда Педро снова потянулся к ней, она, как ужаленная, вскочила на ноги:

— Тебе мало, подлец? Доконать меня хочешь?

И зарыдала в голос, и воздела руки к небу, точно и впрямь лишилась рассудка: ничем, кроме крика, слез и брани, не могла она защититься от Педро. Но лучше всего защитили ее полные ужаса глаза, глаза зверька, которому не отбиться от хищника покрупнее. Желание в нем угасло, а тоска, снедавшая его весь вечер, вернулась, и потому он спросил:

— Если отпущу, придешь завтра?

— Приду.

— Все будет не взаправду, как сегодня...

Она только кивнула в ответ. Глаза у нее были совсем сумасшедшие, ничего, кроме боли и страха, она не чувствовала и хотела только уйти, уйти отсюда, убежать как можно скорее. Теперь, когда Педро больше не целовал ее, не прикасался к ней, возбуждение улеглось, она немного пришла в себя и думала лишь о том, что сумела не лишиться невинности, и облегченно вздохнула, когда Педро сказал:

— Ладно, ступай. Но если завтра не придешь, пеняй на себя. Поймаю — так дешево не отделаешься.

Ничего не ответив, она зашагала по песку. Педро не отставал:

— Провожу тебя, что ли... Привяжется еще кто-нибудь.

Он взял ее за руку. Девушка плакала, и всхлипывания ее мучили Педро, напоминая почему-то все то, что с утра не давало ему покоя: отца, погибшего в схватке с полицией, богиню Омолу, предрекавшую час возмездия. Мысленно он проклинал эту встречу и шел все быстрее, торопясь выйти к улице. Девушка плакала навзрыд, и, разозлившись, он крикнул ей:

— Чего ревешь-то? Убыло от тебя?!

Вместо ответа она только взглянула ему в лицо, и в глазах ее, хоть она была еще в его власти и не оправилась от испуга, Педро прочел ненависть и презрение. Он опустил голову: исчезла и тяга к ее телу, и злость, осталась только горечь. На улице мужской голос напевал самбу. Негритянка зарыдала громче. Педро отбрасывал носком башмака комочки песка. Он неожиданно почувствовал себя слабее этой девчонки: рука, которую он сжимал, вдруг точно свинцом налилась. Он разжал пальцы, и девушка сейчас же отдернула руку. Педро ничего не сказал. Ему не хотелось бы

больше с ней встречаться — никогда в жизни; не хотелось бы увидеть сейчас старого грузчика Жоана де Адана, не хотелось идти в Гантоис. Когда вышли к началу улицы, он пробормотал:

— Ну, иди, тут уж никто тебя не тронет...

Она снова метнула на него ненавидящий взгляд и вдруг кинулась бежать опростелью. Но на углу остановилась, повернулась к Педро (он все смотрел ей вслед) и крикнула так, что он похолодел:

— Чума на тебя, проклятый, война, голод! Пусть покарает тебя Господь! Будь ты проклят во веки веков! Будь проклят! Проклят!

В тишине пустынной улицы голос ее звучал особенно пронзительно, каждое слово вонзалось в Педро точно пуля.

Прежде чем скрыться за углом, негритянка в знак полного презрения плюнула в его сторону и еще раз повторила:

— Будь ты проклят!

Сначала Педро застыл на месте, а потом повернулся и помчался в пески, так, словно ветер подхлестывал его и подгонял, а он пытался убежать от этих проклятий. Ему хотелось броситься в воду, чтобы волны моря смыли с него и это мерзкое чувство вины, и желание отомстить убийцам отца, и ненависть, которую испытывал он к сытому богатому городу, раскинувшемуся вдоль бухты, и отчаяние — отчаяние бездомного и затравленного ребенка, — и жалость к этой гордячке негритянке — она ведь тоже совсем ребенок...

«Совсем ребенок, совсем ребенок», — свистел в ушах ветер, «совсем ребенок», — подтверждала мелодия самбы, «совсем ребенок», — твердил какой-то внутренний голос.

## Приключения Огуна

Однажды ночью, темной зимней ночью, когда рыбаки не отваживались выходить в море, когда всерьез разгневались на людей Иеманжа и Шанго, когда только вспышки молний освещали затянутое низкими черными тучами небо, Педро Пуля, Безногий и Большой Жоан провожали до дому матушку Аниню, «мать святого». Жрица пришла к ним в пакгауз еще днем, но пока объяснила, о чем хочет попросить «капитанов», наступила грозовая, наводящая страх ночь.

— Огун<sup>14</sup> прогневался, — объяснила матушка Анинья. Огун-то и привел ее к «капитанам». Во время очередной облавы полиция нагрнула на террейро, которое хоть и не было в ведении матушки Аниньи — туда-то ни один полицейский сунуться бы не посмел, — но все же находилось под ее покровительством, и в качестве вещественного доказательства идолопоклонства уволокла изображение Огуна. Жрица приняла все меры, чтобы вернуть святого на место. Первым делом она отправилась к одному из своих друзей, преподавателю медицинского факультета, — он часто приходил на кандомбле, потому что изучал негритянские верования, — и попросила помочь. Тот обещал разбиться в лепешку, но Огуна из полиции вызволить, однако вовсе не для того, чтобы вернуть его на террейро, а чтобы приобщить к своей коллекции африканских идолов. Пока Огун находился в полиции, Шанго, разгневавшись, наслал грозу.

Отчаявшись добиться толку от преподавателя, матушка Анинья пошла к «капитанам», с которыми дружила уже давно: все чернокожие и все бедняки Баии — в друзьях у «матери святого», для каждого найдется у нее теплое слово, материнская ласка. Она лечит их, когда они хворают, она соединяет влюбленных, она может навести порчу на дурного человека и избавить от него мир. Матушка Анинья все рассказала Педро Пуле. Тот бывал на кандомбле редко, наставления падре Жозе слушал еще реже, но и жрицу, и падре считал своими друзьями, а у «капитанов» принято помогать друзьям, попавшим в беду.

И вот сейчас они провожали «мать святого» до дому. Вокруг бушевала яростная, грозовая ночь. Струи дождя заталкивали их под большой белый зонт матушки Аниньи, а она с горечью говорила:

— Не дают беднякам жить... И нас в покое не оставляют, и богов наших. Бедняку ничего нельзя: танцевать нельзя, славить своих святых

нельзя, просить их о милости — тоже нельзя. — Голос у нее был скорбный, совсем какой-то не ее. — Мало того что мы мрем от голода, нет, решили еще и святых у нас отнять!.. — Она вскинула кулаки, погрозила кому-то.

Педро точно обдало горячей волной. У бедных ничего нет. Падре Жозе говорит, что когда-нибудь они войдут в царствие небесное и там Бог воздаст каждому поровну. Какая же это справедливость: в царствии небесном они все будут равны, но здесь-то — нет, значит, поровну каждому не воздашь.

Проклятья и сетованья матушки Анины заглушали гром агого и атабаке<sup>15</sup> на кандомбле — они требовали возвращения Огуна. Дона Аинья была высокая, худоцавая, с царственной осанкой: ни одна из здешних негритянок не умела с таким величавым изяществом носить баиянские одежды. Лицо у нее всегда было приветливое и веселое, но ей достаточно было одного взгляда, чтобы внушить к себе уважение. В этом она походила на падре Жозе. Но сейчас вид ее был ужасен, а проклятья, которыми она осыпала богачей и полицию, гремели в баиянской ночи, леденили сердце Педро Пули...

Оставив ее на попечение младших жриц — «дочерей святого», которые окружили матушку Аинью и стали целовать у нее руки, Педро пустился в обратный путь, пообещав на прощание:

— Подожди немного, принесу я тебе Огуна.

С улыбкой она потрепала его по белокурым волосам. Большой Жоан и Безногий тоже поцеловали у нее руку, стали спускаться по крутым улочкам. Вслед им несли рокот барабанов, требуя возвращения Огуна.

Безногий, который не верил ни в Бога, ни в черта, но хотел услужить матушке Аинье, спросил:

— Что ж мы делать-то будем? Хреновина-то эта в полиции...

Большой Жоан, сплунув на всякий случай через плечо, боязливо одернул его:

— Нельзя так про Огуна говорить... Разгневаается — накажет.

— Да он же под замком сидит, можно не бояться, — рассмеялся тот.

Жоан счел за благо оборвать разговор: могущественному Огуну ничего не стоит и из тюрьмы покарать нечестивца. Педро почесался в раздумье, попросил закурить:

— Надо раскинуть мозгами. Раз обещали Аинье — лопни, а сделай. Взятся за гуж...

Они уже подходили к пакгаузу. Сквозь дырявую крышу хлестали потоки дождя. «Капитаны» расползлись по углам — туда, где посуше. Профессор взялся было за книгу, но ветер, точно издеваясь над ним,



ежеминутно задувал свечу, читать не получалось, и он стал следить за игрой: в углу Кот с Долдоном резались в «семь с половиной». Кот держал банк, о каменный пол то и дело звенели монеты, но это не отвлекало Леденчика, сосредоточенно возносившего молитвы Пречистой Деве и святому Антонию.

В такие ночи «капитанам» не спалось. Время от времени молнии освещали пакгауз, и тогда становились видны их лица — немывтые, со впалыми щеками. Те, кто помладше, все еще боялись сказочных драконов и прочих чудовищ, и потому жались к старшим, но и тем было зябко и неудобно. Неграм в раскатах грома слышался голос Шанго. Так или иначе, тяжкая была ночь, тяжкая для всех, даже для Кота, хоть ему и было на чью грудь приклонить свою юную голову. Но в непогоду и взрослые мужчины ищут себе приют, ищут женщину, чтобы согреться и забыться в ее объятиях: потому они щедро платили за то, чтобы остаться у Далвы до утра. Вот и приходилось Коту сидеть в пакгаузе, тасовать крапленые карты, банковать, выгребая с помощью Долдона последние медяки у партнеров. Всех томила какая-то смутная тревога, все старались держаться поближе друг к другу, и в то же время каждый был сам по себе, и каждый чувствовал, что чего-то ему не хватает — не только прочной крыши над головой, не только постели с теплым одеялом, нет: не хватало ласковых слов матери или сестры, нежных слов, которые прогнали бы страх. Мальчишки сбивались в кучу, дрожа от холода в выпрошенных Христа ради рубашках. Были у иных и пиджаки с чужого плеча, украденные где-нибудь или подобранные на свалке, и они кутались в них, как в пальто. А Профессор носил самое настоящее пальто, такое длинное, что полы его волочились по земле.

Однажды — дело было летом — в кафе зашел человек в пальто, нездешний, сразу видно. В эти послеполуденные часы зной стоял совсем нестерпимый, но чужестранец, одетый в пальто, казалось, нисколько не страдал от жары: Профессора он чем-то заинтересовал. «Похоже, у него водятся деньги», — решил он и начал рисовать его на тротуаре мелом; но получилось у него не столько человек в пальто, сколько пальто на человеке. Он рисовал и довольно посмеивался, полагая, что за такой портрет получит никак не меньше тысячи рейсов. Когда рисунок был почти закончен, человек вдруг повернул голову. Профессор засмеялся громче, он был доволен: хорошо вышло, — маленький человечек, огромное пальто. Чужестранцу, однако, совсем не пришлось по вкусу собственное изображение, он разъярился, вскочил и пнул художника ногой. Удар пришелся по почкам, и Профессор со стоном покатился по мостовой.

Побагровев, как от удушья, человек в пальто двинул его еще ногой в лицо и крикнул:

— Получай, гаденыш, будешь знать, как издеваться! — Потом затер рисунок подошвой и ушел, подбрасывая на ладони монеты. Выглянувшая из кафе официантка помогла Профессору подняться, жалостливо посмотрела, как он держится за поясницу, и сказала:

— Вот ведь скотина какая, а! Портрет-то похож... Болван!

Она сунула руку в карманчик, куда прятала чаевые, вытащила серебряную монету в тысячу рейсов, протянула ее мальчику. Но Профессор не взял деньги: знал, официантке они с неба не падают. Держась за ушибленное место, оглядел полустертый рисунок, побрел по улице куда глаза глядят, в горле стоял ком. Хотелось обрадовать человека в пальто, ну и заработать, конечно... А вместо этого получил три пинка, да еще обозвали гаденышем. Странно. Почему их так ненавидят? Они ведь такие несчастные, ни отца у них, ни матери нет. Почему эти хорошо одетые люди так и пыщут на них злобой? Спина у него ныла, но через несколько минут по дороге в пакгауз, на залитом солнцем песчаном берегу он вдруг увидел человека в пальто. Солнце жгло еще пуще, и потому он нес пальто на руке и направлялся к одному из пришвартованных у пирса кораблей. Профессор вытащил из кармана нож, который редко пускал в ход, и нагнал обидчика. На пляже никого не было: все попрятались от жары, а человек в пальто решил, как видно, сократить путь до набережной: шел через пески напрямик. Профессор молча следовал за ним, потом обогнал и преградил дорогу, сжимая нож. Едва лишь он взглянул в лицо чужестранца, как исчезли обида и боль, сменившись одним-единственным чувством — жаждой мести. Обидчик смотрел на Профессора с ужасом, — тот вырос перед ним с раскрытым ножом.

— Убирайся, щенок, — процедил он сквозь зубы.

Но Профессор сделал шаг вперед, и человек в пальто побледнел.

— В чем дело? Что тебе надо? — повторял он, озираясь по сторонам в надежде привлечь чье-нибудь внимание. Но вокруг не было ни души: лишь возле пакгаузов виднелись фигуры грузчиков. Он бросился бежать, но Профессор одним прыжком настиг его и полоснул ножом по руке. Тот выронил пальто, кровь струйкой ударила в песок. Профессор метнулся было назад, потом застыл в растерянности. Сейчас прибежит полицейский, за ним — еще и еще, начнется погоня. Хорошо, если пароход этого гада скоро отваливает, а если нет? Тогда, конечно, его будут искать, пока не найдут и не засадят в каталажку. Тут Профессор вспомнил про официантку и помчался в сторону кафе. Из садика напротив он сделал ей знак, она

вышла и, увидев у него в руках пальто, сразу все поняла.

— Оставил ему на клешне памятку, — честно предупредил Профессор.

— Расквитался, да? — засмеялась официантка, схватила пальто, отнесла его в кафе.

Профессор прятался до тех пор, пока пароход не вышел на рейд, но из укрытия видел полицейских, обшаривавших пляж и прилегающие к порту улицы. Вот и осталось на память об этом происшествии пальто, с которым Профессор ни за что не хотел расставаться. Он получил пальто, он научился ненависти. А через много лет, когда его картинами — на них были запечатлены бездомные дети, старые нищие, рабочие, портовики, взламывавшие тюремные стены, — восхищалась вся Бразилия, кто-то заметил, что на всех изображен буржуа в огромном пальто, и пальто это обладает характером не менее ярким, чем его владелец.

...Педро, Большой Жоан и Безногий вошли в пакгауз. Игра на минуту оборвалась, Кот взглянул на них:

— Не желаете перекинуться в «семь с половиной»?

— Нашел дураков с тобой играть, — буркнул Безногий.

Большой Жоан стал следить за игрой, а Педро отвел Профессора в дальний угол: надо было подумать, как выкрасть изображение Огуна из полиции. Спорили, предлагали действовать так и эдак, и наконец около одиннадцати Педро стал собираться.

— Вот что, ребята, — сказал он, обращаясь ко всем сразу. — Дело мне предстоит нелегкое. Если к утру не вернусь, значит, загребли. В полиции долго держать не станут, перекинут в колонию, там сидеть придется, куда не удастся дать деру. Или ждать вашей помощи...

С этими словами он ушел. Большой Жоан проводил его до ворот. Профессор снова подсел к играющим. Новички испуганно следили за тем, как уходит их вожак: они безгранично верили ему и теперь не знали, как быть и что делать.

Леденчик на полуслове оборвал молитву, вышел из своего угла:

— Что тут у вас?

— Педро пошел на трудное дело. Если к утру не придет, значит, попался.

— Мы его вызволим откуда угодно, — ответил Леденчик так непринужденно, точно минуту назад не просил Пречистую Деву спасти его грешную душу. И снова отправился к своим образкам, но теперь уже молиться за душу Педро Пули.

Игра возобновилась. Ливень, гром и молнии, беспросветное небо.

Холод. Капли дождя падали на игроков, потерявших азарт, — даже Кот не радовался выигрышу. Всеми овладело уныние. Наконец Профессор не выдержал:

— Пойду погляжу, как там и что...

Большой Жоан и Кот отправились вместе с ним, а на пороге в эту ночь улегся, положив нож под голову, Леденчик. Рядом с ним хмуро всматривался в непроглядную тьму Вертун. Он думал о том, где обретается в такую непогоду шайка Лампиана, каково им на бескрайних просторах каатинги<sup>16</sup>. Может быть, они тоже сражаются сейчас с полицией, как Педро Пуля? И еще Вертун думал, что Педро, когда вырастет, не уступит в отваге самому Лампиану. Тому принадлежат сертаны, необозримые пространства каатинги, — Педро станет повелителем Бани, всех ее улиц, набережных, дворов. А он, Вертун, сертанец родом, будет то там, то тут — то в каатинге, то в городе, потому что Лампиан — его крестный, а Педро — его друг. И он закричал петухом: это всегда означало, что Вертун в прекрасном настроении.

Поднимаясь по Монтанье, Педро обдумывал свой план. В такие опасные дела он покамест не совался. Но для матушки Анины нужно рискнуть: не она ли столько раз лечила его, когда он хворал, приносила ему целебные травы, ухаживала за ним и выхаживала? А когда кто-нибудь из «капитанов» появлялся у нее на террейро, она всегда принимала его с почетом, как взрослого, как огана, наливала чего похмельней, подкладывала кусок повкусней. Да, серьезное дело он задумал, и, может быть, придется ему кормить клопов в каталажке, а потом еще помыкаться в колонии, где с людьми обращаются хуже, чем с собаками. И все-таки есть надежда... Педро вышел на Театральную площадь. Дождь не прекращался, полицейские зябко кутались в плащи. Он медленно поднимался по Сан-Бенто, потом свернул на Сан-Педро, пересек Ларго-да-Пьедаде и Розарио, остановился перед зданием управления полиции, заглядывая в окна, наблюдая, как входят и выходят полицейские и агенты в штатском. Прогремел по рельсам трамвай, заливая светом и без того ярко освещенную площадь. Полицейский — добрый знакомый матушки Анины — сказал, что Огуна взгромоздили на шкаф в числе прочих вещей, конфискованных при облавах, а шкаф стоит в камере, куда сажают задержанных: потом их допросит комиссар или дежурный инспектор и распорядится, кого куда, кого — в тюрьму, кого — на свободу. Вот в этой-то камере и стоял шкаф, в который складывали все, что не представляло особенной ценности: как только шкаф переполнялся, все остальное валили в кучу за шкафом. Педро и хотел попасть в эту камеру, провести там какое-то время, а потом

выбраться на волю, прихватив с собой Огуна. Хорошо, что он не примелькался полицейским: может, кто-нибудь из постовых и знает его в лицо, но мало ли в Баии похожих друг на друга мальчишек? Конечно, городская полиция спит и видит, как бы схватить главаря прославленной шайки, и примета у него есть — шрам на щеке (Педро невольно пощупал свой рубец). Полицейские считают, что вожак «капитанов» — старше годами, выше ростом и — мулат. Если они поймут, кто перед ними, дело будет пахнуть не колонией, а тюрьмой. Он прямехонько отправится за решетку. Из колонии еще можно сбежать, а из тюрьмы — попробуй-ка... Но Педро уже шел по Кампо-Гранде — и не беспечной походочкой уличного сорванца, а деловито, с развальцем, поступью моряцкого сына: берет низко надвинут на лоб, воротник черного пиджака — прежний его владелец был, судя по всему, человеком рослым и дородным — поднят.

Полицейский прятался от ливня под деревом. Педро приблизился к нему боязливо и нерешительно, а когда заговорил, голос его звучал, как у ребенка, напуганного ночной грозой.

— Сеньор...

Полицейский глянул на него:

— Чего тебе?

— Я нездешний, я из Мар-Гранде, сегодня с отцом приплыли...

— Ну и что? — оборвал его полицейский.

— Ночевать негде... Сделайте такую милость, сведите меня в полицию, а то дождь льет...

— Нашел гостиницу! Проходи, проходи!

Педро попробовал было поканючить, но полицейский погрозил ему дубинкой:

— Проваливай, сказано тебе! Вон в садике ночуй!

Педро, размазывая слезы по щекам, направился к трамвайной остановке. Полицейский смотрел ему вслед. Подошел трамвай. Из прицепного вагона вышла парочка. Педро подскочил к даме, собираясь вырвать у нее сумочку, но кавалер схватил его за руку. Ограбление было предпринято так неумело, что случись рядом кто-нибудь из «капитанов», они покраснели от стыда за своего товарища. Полицейский, наблюдавший всю эту сцену, был уже тут как тут.

— Вот, значит, ты из каких! Ворюга!

И поволок Педро за собой. Тот не сопротивлялся, лицо его выражало и испуг и радость:

— Я нарочно, чтоб меня забрали...

— Что-о?

— Ей-Богу. Я ведь вам сказал чистую правду. Живем мы в Мар-Гранде, отец у меня моряк, ходит на баркасе. Оставил меня тут, а на море-то шторм, вот он и не вернулся. Приткнуться мне некуда, я и попросил вас свести меня в полицию. А вы сказали «нельзя». Ну, тогда я и притворился вором, чтоб вы меня забрали... Теперь хоть крыша над головой будет...

— И не на одну ночь, — только и сказал полицейский.

Втащив Педро в Управление, он поволок его по коридору, втолкнул в камеру предварительного заключения, где уже сидело человек пять-шесть, и злорадно крикнул:

— Доброй ночи, пащенок! Вот придет комиссар, скажет, сколько тебе придется спать на нарах...

Педро промолчал. Никто не обратил на него внимания: арестованные переругивались с неким субъектом странного вида, откликавшимся на имя Мариазинья. В углу Педро увидел шкаф: изображение Огуна стояло рядом с корзиной для мусора. Подобравшись к шкафу, он снял пиджак, завернул в него небольшого Огуна — изображения грозного Бога бывали куда больших размеров, — потом растянулся на полу, подложив под голову сверток, и притворился спящим. Арестанты ничего не заметили, продолжая перешучиваться с Мариазиньей. Один только старик, сидевший в углу, не принимал участия в этой забаве. Его трясло, как в лихорадке, и Педро не мог понять, от холода или от страха.

Молодой негр говорил:

— Ну, так кто ж тебя обесчестил?

— Отвяжись, — со смехом отвечал его собеседник.

— Выкладывай, выкладывай, — загомонили остальные.

— Повстречался мне однажды Леопольдо!.. Ах, Леопольдо...

Старика все била дрожь. Какой-то парень с изглоданным чахоткой лицом заметил его.

— Тебе бы вот с кем подружиться, — сказал он Мариазинье.

— Мне такая рухлядь без надобности, отстань...

В дверях ухмылялся полицейский. Чахоточный подошел поближе к старику:

— А ты, папаша, что скажешь? По нраву он тебе, а?

— Я старый человек, ни в чем не виноват, — еле слышно проговорил он. — Ни в чем не виноват, меня дочь ждет...

Педро, лежавший с закрытыми глазами, догадался, что старик плачет, но продолжал прикидываться спящим, хотя Огун больно врезался в щеку. Арестованные все не унимались и отпускали шуточки по адресу старика, пока не появился еще один полицейский, велевший старику следовать за

ним.

— Я же ни в чем не виноват, — повторял старик, обращаясь ко всем сразу. — Меня дочка ждет... — Он так дрожал, что всем стало его жалко, и даже чахоточный опустил голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Улыбался один Мариазинья.

Старик обратно не пришел. За ним увели педераста.

Пока его не было, чахоточный рассказал, что он — из богатой семьи и обычно инспектор звонит его отцу, просит приехать забрать сыночка, чтобы не пришлось арестовывать снова. Время от времени, когда он нанюхается кокаину и скандалит на улице, его тащат в полицию... Тут Мариазинья, вернувшийся за своей шляпой, заметил Педро:

— Какой свеженький, какой хорошенький...

Педро, не открывая глаз, сплюнул:

— Катись, пока рожа цела.

Арестованные расхохотались, тут только увидев мальчика.

— Тебя за что замели, мышка?

— Не твое дело, макака бесхвостая, — ответил он, прямо глядя в остроскулое изможденное лицо чахоточного.

Смеясь, полицейский рассказал о приключении Педро. Но в эту минуту выкликнули молодого негра, и все притихли. Было известно, что этот малый в драке несколько раз пырнул противника ножом. Когда он вернулся в камеру, кисти рук у него покраснели и опухли, — наверно, отхлестали линейкой.

— Судить будут, — объяснил он. — Я, оказывается, нанес «легкие телесные повреждения», а пока дали две дюжины горячих...

Он замолчал, уселся в углу. В камере стало тихо. Одного за другим арестованных вызывали на допрос к комиссару: одних отпускали, других под конвоем отправляли в тюрьму, третьи возвращались избитыми. Гроза наконец унялась. Близился рассвет. Последним повели Педро. Пиджак он предусмотрительно оставил в камере.

Комиссаром оказался молодой юрист: блестел рубиновый перстень у него на пальце, посверкивал огонек зажатой в зубах сигары. Когда Педро входил в кабинет, комиссар кричал кому-то, чтобы принесли кофе. Педро остановился перед письменным столом.

— Попытка ограбления, задержан на Кампо-Гранде, — доложил полицейский.

— Ну что, дадут мне сейчас кофе или нет?! Поди поторопи! — приказал комиссар.

Полицейский вышел. Комиссар прочел рапорт постового,

задержавшего Педро, поднял глаза:

— Ну, что скажешь? Только не вздумай врать!

Дрожащим голосом Педро стал плести свою длинную историю. Отец у него живет в Мар-Гранде, утром приплыли в город, а отец сразу же пошел на своем баркасе обратно взять еще партию товара, а его оставил погулять по Баии, потому как было еще рано, можно успеть вернуться. А тут шторм начался, в городе у него — никого знакомых, дождь хлещет, деваться некуда. Спросил у прохожего, где можно переночевать, тот говорит — в полиции. Попросил полицейского — забери меня до утра, а полицейский заругался и не взял. Тогда он и сделал вид, что хочет сумочку украсть, а на самом деле и в мыслях не было этого, прикинулся воришкой, чтоб оказаться под крышей в такую погоду...

— Так что никого я не грабил, — завершил он свой рассказ.

Комиссар, маленькими глоточками прихлебывавший кофе, заметил как бы про себя:

— Быть не может, чтоб такой сосунок мог сочинить такую складную байку... — У него была слабость к литературе, и потому он пробормотал: — Готовая новелла, — а потом, добродушно улыбнувшись, спросил: — Как отца зовут?

— Аугусто Сезар. — Педро назвал имя одного рыбака из Мар-Гранде.

— Проверю. Если не наврал, отпущу. А если решил меня обморочить, плохо твое дело.

Он позвонил, вызывая полицейского. Нервы у Педро были натянуты, как струны. Комиссар велел проверить, зарегистрированы ли в полиции рыбаки из Мар-Гранде, которые швартуются к причалам у рынка.

— Зарегистрированы, сеньор комиссар.

— Посмотри, значит ли там Аугусто Сезар! Живо, мое дежурство кончается!

Педро посмотрел на часы: половина шестого утра. Полицейский не возвращался, а комиссар, казалось, забыл о мальчике, стоявшем перед его столом. Лишь когда полицейский, войдя в кабинет, доложил:

— Есть такой! Был сегодня, потом уплыл обратно, — комиссар приказал: .

— Отпусти мальчишку.

Педро спросил, можно ли ему забрать пиджак, а в камере так ловко пристроил его под мышкой, что Огуна никто и не заметил. Снова пересекли коридор из конца в конец, и полицейский вывел его за двери. Педро вышел на площадь, обогнул старое здание казармы, свернул на Гамбоа-де-Сима, прибавил ходу, потом побежал. За спиной он слышал чьи-



то шаги. Неужели спохватились и догоняют? Он обернулся. За ним шли Профессор, Большой Жоан и Кот.

— Чего это вы тут ошиваетесь? — спросил он с любопытством.

Профессор поскреб в затылке.

— Мы тут давно уже гуляем. Не ждали тебя так рано. А ты вылетел, как пуля, и пошел чесать по улицам, как будто за тобой кто гонится.

Педро развернул пиджак, достал Огуна.

— Как же ты умудрился обдурить их? — хохоча от восторга, стал спрашивать Большой Жоан.

Они шли вниз по еще скользкой от ночного ливня улице, и Педро рассказывал друзьям о своих приключениях.

— Неужто ни капельки не страшно было? — осведомился Кот.

Педро сначала хотел соврать, но потом признался:

— Честно сказать, чуть было в штаны не наложил...

И засмеялся, увидев, как расплылось в довольной улыбке лицо Большого Жоана. На синем небе не было теперь ни облачка, сияло солнце, от причалов у рынка отваливали рыбачьи баркасы.

## Господь улыбается как негритенок

Слишком велико было искушение.

И не скажешь, что сейчас зимний полдень. Солнце заливает улицы мягким светом, и лучи его не обжигают, а поглаживают кожу нежно, точно женская рука. В саду пестрым многоцветьем переливаются маргаритки, розы и гвоздики, георгины и фиалки, и даже на расстоянии чувствуется тонкий, едва уловимый аромат, от которого у Леденчика чуть кружится голова. Покормили его сегодня богатые португальцы — вынесли остатки обеда, королевское получилось пиршество. Служанка, поставив перед ним доверху полную тарелку, поглядела на улицу, на зимнее солнце, на прохожих, шедших налегке, и сказала:

— Славный какой денек.

Слова эти продолжают звучать в ушах у Леденчика. Славный денек, и мальчик беспечно шагает по улице, насвистывая самбу, которой научил его Богумил, вспоминая, что падре Жозе Педро обещал во что бы то ни стало устроить его в семинарию. Еще падре сказал, что вся красота земли и людей — дар Божий и нужно быть ему за это благодарным. Леденчик поднимает глаза к синему небу, туда, где, наверно, живет Господь Бог, и думает: Господь и вправду всеблаг. А подумав о Боге, тут же вспоминает о своих товарищах. Они воруют, дерутся, бранятся так, что уши вянут, по ночам подкарауливают на пляже девчонок-негритянок, могут при случае пырнуть ножом полицейского — и все-таки они добрые, они преданы друг другу. А грешат потому, что нет у них ни дома, ни отца с матерью, потому что никогда не знают, будут они сегодня сыты или нет, и живут в кирпичной сырой развалюхе с дырявой крышей. Если б не воровали, то перемерли бы с голоду, — редко встретишь сердобольных людей, которые накормят или вынесут какую-нибудь одежонку. Одного — покормят, другого — оденут, а остальным что? Подыхать? Вот и получается, что всю шайку ждет пекло. Педро Пуля не верит в загробную жизнь. Профессор над этим смеется. Большой Жоан верит в Шанго и Омолу, в негритянских богов, пришедших в Бразилию из Африки. Богумил, закоренелый грешник и несравненный капозэйрист, тоже молится им и путает их с вывезенными из Европы святыми. Падре Жозе Педро говорит, что это предрассудок и заблуждение и они не виноваты. День по-прежнему прекрасен, а Леденчик мрачнеет. Неужто все они обречены аду? Там, в геенне, грешников ждет пламя адского огня: оно будет мучить их всю загробную жизнь, а жизнь эта

бесконечна. А муки там пострашней тех, что в полиции или в колонии. Несколько дней назад Леденчик слушал в церкви Пьедаде проповедь, которую читал монах из Германии. На его багровом лице блестили капли пота. Он плохо говорил по-португальски, и слова его обрушивались на прихожан, точно удары бича. Языки пламени жгли тех, кто в земной жизни был красив и прелюбодействовал, воровал или пускал в ход нож. Господь Бог германского монаха был грозным и мстительным вершителем правосудия и совсем не походил на благостного Бога падре Жозе, посылавшего людям такие славные погожие дни. Только потом Леденчику объяснили, что Бог — это высшее милосердие и высшая справедливость, и мальчик теперь испытывал к нему не только любовь, но и страх, — два эти чувства жили в его душе нераздельно. Никому не было до него дела, и потому невольно приходилось грешить — воровать чуть не каждый день, врать, выпрашивая милостыню у дверей богатых домов. И, как ни ясно синее небо, Леденчик сейчас смотрит на него широко раскрытыми от страха глазами и молит Бога (милосердного, но справедливого) простить его грехи и грехи всех «капитанов» — простить, потому что они не виноваты. Виновата жизнь...

Это падре Жозе Педро говорил, что виновата жизнь, и делал все возможное, чтобы облегчить ее, ибо знал: только так он сумеет наставить мальчишек на путь истинный. Но однажды старый грузчик Жоан де Адан сказал, что виновата не жизнь, а неправильно устроенное общество, виноваты богатые... И еще он сказал, что до тех пор, покуда все будет по-прежнему, мальчишки порядочными людьми не станут. И еще он сказал, что падре ничего не сможет для них сделать — богатые не дадут. Услышав это, падре очень опечалился, а когда Леденчик принялся его утешать, говоря, что не стоит обращать внимания на слова грузчика, тот, покачив головой, ответил:

— Я и сам иногда подумываю, что это так: не все ладно в нашем обществе... Но Господь милостив, он вразумит.

Падре считал, что Господь простит «капитанов», а потому хотел помочь им, хоть и не знал, как это сделать. Зато ему очень хорошо было известно, что большинство относится к ним, как к преступникам, а некоторые не видят большой разницы между ними и теми, у кого есть родители и крыша над головой. В пору было отчаяться. Однако падре не терял надежды, что Господь когда-нибудь укажет ему путь, как спасти заблудшие души, а до тех пор он будет опекать их, стараясь по мере сил и возможностей искоренять в них все дурное. Именно падре Жозе Педро удалось покончить с мужеложеством в шайке, а заодно понять, как именно

надлежит действовать, если желаешь добиться успеха. Пока он внушал им, что педерастия есть отвратительный и богомерзкий грех, «капитаны» только посмеивались у него за спиной и продолжали приставать к самым милостивым из своих сотоварищей. Но когда в один прекрасный день падре заявил (призвав на помощь Богумила, который подтвердил его слова), что это занятие — позор для мужчины, Педро Пуля тотчас принял крутые меры, объявив, что все, кого он застукает, будут выгнаны из шайки вон. Образно выражаясь, он выжег этот порок каленым железом.

Трудней всего было падре примирить непримиримое, но иногда ему удавалось и это, и тогда он довольно улыбался, глядя на плоды своих рук. Грузчик Жоан де Адан тем не менее посмеивался над его стараниями и говорил, что только революция все приведет в порядок. Там, в Верхнем Городе, обитатели богатых кварталов хотели бы отправить всех «капитанов» поголовно в тюрьму или в исправительную колонию, что еще хуже. Внизу, в порту, Жоан де Адан мечтал покончить с богачами, сделать всех людей равными, а всех детей обучить грамоте. А падре хотел, чтобы дети ходили в школу, чтобы у них был дом, чтобы о них заботились, чтобы их любили, и полагал, что для этого вовсе не обязательно устраивать революцию и уничтожать богачей. Но на каждом шагу вырастали перед ним неодолимые препятствия. Падре уже терял надежду и горячо молился, прося Господа наставить его и указать верный путь. Но чем больше думал он обо всем этом, тем непреложней становилась для него правота старого грузчика, и непреложность эта пугала его. Ужас охватывал падре: совсем не тому его учили в семинарии. И снова часами напролет просил он у Бога совета и помощи.

Леденчик был предметом его особой гордости. Раньше этот паренек слыл среди «капитанов» чуть ли не самым отчаянным: рассказывали, что однажды, когда какой-то мальчуган отказался дать ему денег, он приставил к его горлу острое клинка и стал медленно нажимать на рукоять, пока не потекла кровь. Но рассказывали и про то, как он ударил ножом Жирного Шико: тот мучил кошку, ловившую в пакгаузе крыс. Леденчик начал преображаться с того самого дня, когда падре впервые заговорил о Боге, о небесах, об Иисусе Христе, о милосердии и доброте. Господь воззвал к нему: в пакгаузе он явственно услышал его глас. Господь снился ему; это было то самое откровение, о котором толковал падре. И мальчик потянулся к нему всем своим существом и стал молиться перед образками, подаренными священником. Товарищи немедля принялись насмеяться над его рвением, но когда он избил одного из них, остальные прикусили языки. На следующий день после драки падре Жозе сказал Леденчику, что тот

поступил дурно, что во имя Господа можно и должно претерпеть любую обиду, и тогда он отдал избитому свой совсем новенький нож. Больше он в драки не лез, ни разу никого не отколотил, а воровать не бросил оттого только, что помер бы с голоду, — это был единственный источник существования для него и для всех ребят. Леденчик внимал настойчивому зову Бога и хотел пострадать во имя его. Он часами простаивал на коленях, спал на голом полу, молился, даже когда глаза слипались, шарахался от негритяночек, которые предлагали ему свою любовь. Но в те времена Бог для него олицетворял неисчерпаемое милосердие, и он умерщвлял плоть во искупление тех мук, что претерпел Господь на земле. Потом открылась ему и справедливость (для него — возмездие) Бога, и в душе его поселился страх перед ним — страх, соединившийся с любовью. Молитвы его стали продолжительней, и ужас, который внушал ему ад, причудливо перемешивался с прекрасным божественным образом. Он устраивал себе долгие посты; щеки у него ввалились, как у отшельника, а взгляд стал отрешенным и невидящим. Он мечтал, чтобы Господь явился ему в сновиденье, и потому остерегался поднимать глаза на чернокожих девчонок, которые, покачивая бедрами, словно танцуя на ходу, то и дело попадались ему в бедных кварталах Баии. Единственным желанием Леденчика было стать служителем Бога, жить в угоду ему и во имя его. Милосердие Бога вселяло в него надежду, а страх, который он испытывал перед неотвратимостью ожидавшей его кары за грехи, приводил в отчаяние.

Эта любовь, этот страх — причина того, что Леденчик в нерешительности стоит перед витриной в погожий солнечный день. Солнце не палит, а мягко греет, в саду распустились цветы, мир и покой снизошли на Баню. Но прекрасней всего — резное изображение Богоматери с младенцем, стоящее в этой лавке, у которой только один вход. На витрине — образки и ладанки, молитвенники в богатых переплетах, золотые четки, серебряные ковчезцы, а с полки, что у самой двери, Пречистая Дева протягивает мальчику Христа-младенца, такого же нищего и нагого, как сам Леденчик. По воле скульптора Христос худ, а Дева, держащая его на виду у богатых и толстых прохожих, печальна. Вот потому никто и не покупает деревянное изображение: всюду и всегда Христос-младенец — упитанный и пухлый, точно мальчик из благополучного семейства, это Бог богатых. А этот похож на Леденчика, а еще больше — на самых юных членов шайки, особенно на того малыша всего несколько месяцев от роду, которого Большой Жоан подобрал на улице — мать, видно, умерла, — принес в пакгауз, где он и пробыл целый день к вящей радости

«капитанов», потешавшихся над Жоаном и Профессором: те совсем сбились с ног, добывая для малыша молоко. Потом матушка Анинья взяла и унесла его. Только тот младенец был чернокожим, а этот — белый... А так один к одному. У Христа, прильнувшего к груди Пречистой, такое же худенькое, исплаканное личико. Дева Мария словно протягивает младенца Леденчику, вверяет своего сына его попечению, его любви. Сияющий день, ослепительное солнце, цветы, и только Христу-младенцу холодно и голодно. Взять его с собой, в пакгауз? Он заботился бы о нем, пестовал его, окружил бы его любовью... Еще и тем отличается этот Христос от всех прочих, что Приснодева держит его как-то не крепко, словно уже готова отдать Леденчику. Он делает шаг вперед. В лавчонке — всего одна продавщица: пока нет покупателей, она подкрашивает губы. Утащить резное изображение — проще простого. Леденчик уже собирается сделать еще шаг, но вдруг застывает на месте. Страх перед Богом останавливает его.

Он поклялся когда-то, что будет воровать, только чтобы не умереть с голоду или чтобы не нарушать законов шайки — по приказу Педро Пули: ведь преступить ее неписанные, но неумолимые законы — тоже грех. А сейчас собирается украсть Христа-младенца — и только для себя. Он хочет украсть его, чтобы Христос всегда был с ним, чтоб было о ком заботиться и кого любить. А если воруешь не потому, что голодаешь или мерзнешь, то совершаешь смертный грех и будешь наказан без пощады — гореть тебе, Леденчик, в геенне огненной. Пламя ее будет терзать твою плоть, жечь руки, снявшие образ Господа с полки, и конца твоим мукам не настанет во веки веков. Христос-младенец — собственность хозяина этой лавки. Но, если рассудить, у него столько других младенцев — пухленьких и розовощеких, — что он и не заметит пропажи одного из них, самого несчастного и озябшего. Остальные всегда завернуты в пеленки из дорогой материи тонкой выделки — всегда почему-то голубые. А этот — совсем голый, он, наверно, озяб, его не пожалел даже создатель-резчик. А Дева протягивает сына Леденчику, отдает младенца ему. Вон сколько у этого торговца других Христов. Он и не заметит, а заметит — так только обрадуется, что украли того самого младенца, которого никто не покупал, который готов вот-вот скатиться с материнских рук, перед которым всегда перешептываются в страхе святоши-покупательницы:

— Нет, только не этого... Такой заморыш, прости меня, Господи... Пожалуй, еще упадет на пол, разобьется — что тогда делать? Нет, этого не куплю.

Так и остался Христос непроданным. Дева Мария протягивала его

проходим, чтобы кто-нибудь взял его, любил и заботился о нем, но никто не брал. Богомолки не желали ставить его в свои домашние алтари рядом с младенцами в золотых сандалиях, с золотыми коронами на голове. Один только Леденчик заметил, что он голоден и продрог, один только Леденчик, мечтает взять его, Но денег у него нет, и к тому же он никогда ничего не покупает. Если он унесет младенца, то любовь к Богу и накормит его, и напоит, и обогреет. Но как унесешь, если адский огонь будет пожирать голову, в которой родился греховный замысел, и руки, его осуществившие?! Тут он вспоминает, что греховный помысел — уже есть грех. Германский монах говорил, что многие грешат в мыслях, не сознавая этого. Леденчик-то сознает, что грешит, и, боясь кары, бросается прочь. Но убегает он недалеко: на углу останавливается, потому что расстаться с образом Христа-младенца не в силах. Глядит на другие витрины, чтобы отвлечься; засовывает руки в карманы, чтобы уберечься от искушения, отгоняет его от себя. Вокруг снуют люди, возвращающиеся с обеденного перерыва, и совсем скоро в магазин придут другие продавцы — и тогда уж точно ничего не получится... И он снова застывает перед витриной.

И снова Пречистая Дева протягивает сына Леденчику. Уже час дня. Через несколько минут придут продавцы. Сколько их? Магазины маленький, хватит и одного, чтоб нельзя было утащить младенца. Леденчику кажется, что эти слова произнесла сама Дева: сейчас не унесешь — никогда не унесешь. Конечно, это она сделала так, что барышня за прилавком ушла в глубь лавки... Она, Пречистая Дева, протягивает ему своего сына. Он слышит сладостный голос:

— Возьми его. Отдаю его на твое попечение. Смотри за ним хорошенько...

Он подходит к полке. Въяве предстает перед ним пламя геенны, в которую ввергнет его Бог на веки вечные. Но, потрянув головой, словно прогоняя это видение, он берет на руки протянутого ему Девой младенца и, прижав его к груди, исчезает на улице.

Он не глядит в лицо Христа, но знает, что сейчас, притулившись к его груди, тот не страдает ни от холода, ни от голода, ни от жажды. Христос улыбается в точности так, как улыбался тот грудной негритенок, когда открыл в пакгаузе глаза и увидел, что Большой Жоан поит его с ложечки молоком, стиснув бутылку в огромных ручищах, а Профессор поддерживает ему голову и согревает его теплом своего тела. Так улыбается теперь и Христос-младенец.

## Семья

Это Долдон рассказал Педро Пуле, что в одном доме по улице Граса золота столько, что жуть берет. Хозяин, кажется, коллекционер, и Долдон слышал от одного портового молодца, будто там есть комната, сплошь заставленная золотом и серебром, в ломбарде это потянет целое состояние. Днем Педро, взяв с собой Долдона, пошел посмотреть на этот самый дом: современная постройка, сад, гараж — просторное и элегантное жилище богатых людей. Долдон сплюнул сквозь зубы, растер плевков подошвой — на мостовой осталось затейливое, как цветок, пятно — и сказал:

— Еще говорят, здесь живут только двое стариков.

— Тем лучше... — заметил Педро.

Дверь особняка открылась, в сад вышла служанка. Приятели успели разглядеть обширный холл, картины на стенах, статуэтки на столиках.

— Вот бы сюда Профессора, — засмеялся Педро, — он бы совсем с ума сошел. Гляди, сколько картин и книг.

— Он бы во какой портрет с меня нарисовал. — И Долдон широко развел руки.

Педро еще раз осмотрел дом, посвистывая, подошел к садовой решетке. Служанка, склонившись над клумбой, срезала цветы: в вырезе платья виднелась пышная грудь. Педро пригляделся повнимательней. Белые груди с торчащими розовыми вершинками. Долдон протяжно вздохнул:

— О-о, какие...

— Заткнись.

Но служанка уже заметила их, взглянула вопросительно — «что, мол, вам здесь надо?». Педро стащил с головы берет:

— Нельзя ли у вас водички попросить? Совсем от жары замучились...

Разрумянившийся, с белокурыми волнистыми волосами, закрывавшими уши, он улыбался, и служанка посмотрела на него приветливо. Долдон, поставив ногу на садовую ограду, курил сигарету.

— Убери ногу, ишь куда задрал, — неприязненно сказала служанка, а Педро улыбнулась: — Сейчас принесу.

Через минуту она вернулась с двумя стаканами воды, — мальчишки отродясь не видывали таких красивых. Выпив воду, Педро поблагодарил:

— Большое спасибо, — и добавил шепотком: — До чего ж хороша!..



— Нахал, — также вполголоса ответила девушка.

— Ты в котором часу работу кончаешь?

— Разлетелся! У меня муж есть. В девять он всегда меня встречает вон на том углу.

— А сегодня я буду ждать на этом...

Приятель двинулся по улице. Долдон докуривал сигарету, обмахивался своей шапчонкой.

— Есть во мне что-то такое, — заметил Педро. — Готово дело, влюбилась.

Долдон снова сплюнул:

— Еще бы, отрастил себе лохмы, как баба, да еще весь в локончиках...

Педро, засмеявшись, погрозил ему кулаком:

— Молчи, дубина, это в тебе зависть говорит!

Некоторое время шли молча, потом Долдон спросил:

— Ну, так как же с золотишком будет?

— Пошлем сначала Безногого. Пусть протырится завтра в дом, поживет денек-другой. Когда разузнает, где хранится что поценней, заявимся впятером-вшестером и вынесем...

— А бабенку, что ж, упустишь?

— Ничего подобного. Сегодня же моя будет. К девяти вернусь сюда.

Он обернулся. Служанка, перегнувшись через ограду, смотрела им вслед. Педро помахал ей, и она ответила. Долдон сплюнул в третий раз:

— Вот везунок, смотреть противно!

На следующий день около половины двенадцатого возле особняка появился Безногий. Служанка не услышала звонка, потому что, наверно, перебирала в памяти подробности ночи, проведенной с Педро в комнатке на улице Гарсия. Безногий нажал кнопку еще раз, и в окне первого этажа показалась седовласая голова. Прищуренные глаза пожилой дамы взглянули на Безногого.

— Что ты хочешь, мой мальчик?

— Сеньора, я — бедный сирота...

Дама движением руки попросила его обождать и спустя несколько минут уже стояла у калитки, отмахиваясь от извинений подоспевшей служанки.

— Да, так я слушаю тебя, мой мальчик, — повторила она, окинув быстрым взглядом его лохмотья.

— Сеньора, я рос без отца, а несколько дней назад Господь призвал к себе мою бедную мамочку. — Он ткнул пальцем в траурную повязку на рукаве своего пиджака (повязку смастерили из ленты с новой шляпы

Кота, — тот взбесился от злости, обнаружив это). — Больше у меня никого в целом свете... Я — калека, много работать не могу, уже два дня у меня во рту крошки не было, и ночевать мне негде...

Казалось, он вот-вот расплачется. Дама была явно тронута его словами:

— Ты сказал — «калека»?

Он выставил больную ногу, потом прошелся перед хозяйкой, хромя сильнее, чем обычно. Та смотрела на него с состраданием.

— А отчего умерла твоя мама?

— Толком не знаю... Прицепилась к ней какая-то зараза, не то лихорадка, не то горячка, за пять дней свела ее в могилу. И остался я один на всем белом свете. Если б еще можно было работу найти... Но кто ж меня возьмет, хромого? Разве только к каким-нибудь добрым людям... Я могу за покупками ходить, по дому помогать... Возьмите меня, а?

И, думая, что она колеблется, бесстыдно добавил плачущим голосом:

— Конечно, можно пойти воровать, связаться с какой-нибудь шайкой вроде «капитанов песка», вы слышали, наверно? Да не по нутру мне это, я свой хлеб честно хочу зарабатывать. Но тяжелой работы не выдержу. Пожалейте, сеньора, бедного голодного сироту...

Но хозяйка и не думала колебаться. Она молчала потому, что вспоминала своего сына, который был сверстником этого оборвыша, — его смерть навеки изгнала радость из их дома. Муж мог по крайней мере отвлечься своей коллекцией произведений искусства, а она жила только воспоминаниями о сыне, покинувшем их так скоро. Вот потому она и глядела на Безногого ласково и голос ее звучал так нежно. В нем появились даже какие-то радостные нотки, безмерно удивившие служанку.

— Войди, мой мальчик. Я подумаю, как тебе помочь. — Она опустила тонкую руку (на пальце блеснул крупный брильянт) на грязную голову Безногого и повернулась к служанке: — Мария, приготовьте ему комнату над гаражом. Отведите его в ванную, дайте халат Раула и покормите.

— Слушаю, дона Эстер. Обед потом прикажете подавать?

— Потом. Сначала займитесь этим мальчиком. Бедняжка два дня ничего не ел.

Безногий молчал, размазывая ладонью по лицу притворные слезы.

— Не плачь, — промолвила дона Эстер, погладив его по щеке.

— Дай вам Бог, сеньора... Вы такая добрая...

После этого она спросила, как его зовут, и Безногий назвал первым пришедшим в голову именем:

— Аугусто.

Он мысленно повторял это имя, стараясь накрепко затвердить его, и потому не видел, какое впечатление произвело оно на хозяйку.

— Тебя тоже зовут Аугусто?.. — шептала она, потом повторила уже в полный голос: — Боже мой, Аугусто... Аугусто, — и Безногий, подняв глаза, увидел ее преображенное волнением лицо. — Это имя носил мой сын. Он умер, когда был таким, как ты... Ну, входи же, умойся, и тебе дадут поесть.

Растроганная дона Эстер пошла за ним следом и смотрела, как служанка проводила мальчика в ванную, дала ему халат, а сама поднялась в комнату над гаражом (шофер уволился, и она пустовала), чтобы все приготовить. Дона Эстер подошла к Безногому, остановившемуся на пороге ванной.

— Свою одежду можешь выбросить. Мария подберет тебе что-нибудь из вещей моего Аугусто.

Она ушла, а Безногий смотрел ей вслед и злился то ли на нее, то ли на себя...

Дона Эстер сидела у своего туалетного столика, невидящими глазами уставившись в зеркало. У нее было такое выражение, будто она следит за плывущими по небу облаками. Но она ни за чем не следила и ничего не видела. Перед глазами у нее стоял одетый в матросский костюмчик сын — ровесник Безногого. Она вспоминала, как носился он по двору того дома, где они жили раньше и откуда уехали сразу после его смерти. Он всегда был такой веселый, такой неугомонный, такой непоседа!.. Когда же ему надоело гоняться за кошкой, качаться на качелях, до сумерек играть во дворе в футбол, он прибегал к ней, обнимал за шею, целовал или садился у ее ног, листая книжки с картинками, по которым учился читать и писать. Дона Эстер с мужем, чтобы не разлучаться с сыном надолго, решили дать ему домашнее образование. Но однажды (глаза ее наполнились слезами) он заболел лихорадкой, а потом маленький гроб вынесли за ворота, и она смотрела ему вслед испуганно и удивленно, все не решаясь поверить, что сын ее умер. Его увеличенная фотография висит у нее в комнате, но шторка отодвигается редко: к чему растравлять рану? Одежда его сложена в чемодан, с самого дня похорон никто не прикасался к ней. Но сейчас дона Эстер достает из шкатулки с драгоценностями ключи.

Медленно, очень медленно входит она в детскую. Садится на стул. Дрожащими руками отпирает чемодан, поднимает крышку, долго смотрит на брюки и курточки, на матросские костюмы, на маленькие пижамы и ночные рубашки. Прижимает к груди матроску, словно обнимает сына. Плачет.

В двери ее дома постучался бедный сирота. После того как умер Аугусто, она не хотела больше иметь детей, не могла даже видеть их — слишком живо напоминали они о ее потере. Но нищий, убогий, печальный мальчик, которого зовут так же, как ее сына, постучался к ней, попросил накормить, приютить, обогреть. И потому она решила открыть чемодан, где лежали вещи ее сына, потому она достает оттуда его любимый матросский костюм: в образе этого искалеченного и обездоленного попрошайки вернулся к доне Эстер ее Аугусто.

И плачет она теперь не только от горя. Сын ее вернулся к ней изголодавшимся, хромым, оборванным, грязным, но скоро, очень скоро станет он, как прежде, веселым и счастливым, и обовьет ее шею руками, и усядется у ее ног, перелистывая букварь.

Она поднимается, выходит из комнаты, унося матросский костюмчик. В этой одежде суждено Безногому съесть лучший в своей жизни обед.

Матросский костюмчик был точно на него шит, сидел, как влитой, и Безногий, посмотревшись в зеркало, не узнал себя. Он был чисто вымыт, горничная пригладила ему волосы брильянтином, сбрызнула одеколоном. Безногий, глядя на свое отражение, одернул матроску и улыбнулся, подумав о Коте: он дорого бы дал, чтобы Кот увидел его в таком обличье. На ногах у него были новые башмаки, но они его сильно разочаровали: сверху были какие-то бантики, и потому Безногий счел их женскими. «Чепуха какая-то, — подумалось ему, — матросский костюм — и девчачьи туфли». Он пошел в сад, — хотелось курить, сигаретка после обеда — святое дело. Обедом иногда не было вовсе, но окурок сигареты или сигары он раздобывал непременно. Но здесь надо быть начеку, открыто не покуришь. Если б его отвели на кухню, кормили бы вместе с прислугой, тогда дело другое: можно было бы и покурить всласть, и поболтать, не стесняясь особенно в выражениях. Но в этом доме его вымыли, одели во все новое, напмадили, надушили, потом проводили в столовую, и там, за обедом, хозяйка говорила с ним, как с порядочным. Потом она велела ему пойти поиграть в саду, где нежился на солнце желтый кот по кличке Брелок... Безногий опускается на скамейку, достает пачку дешевых сигарет — он предусмотрительно переложил их в карман новых штанов, — закуривает, глубоко затягивается и начинает размышлять о неожиданном повороте судьбы. Он уже не в первый раз прикидывается «бедным хроменьким сиротой» и остается им до тех пор, пока не вызовет расположение комнат, места, где хранится самое ценное, все ходы и выходы. Потом однажды ночью облюбленный особнячок посетят

«капитаны», утащат товар, а спустя несколько часов после налета появится в пакгаузе и он, Безногий, охваченный злорадным торжеством. Чувство это неизменно возникало в его душе, потому что хозяева тех домов, где его кормили и куда пускали переночевать, творили добро, точно выполняя тягостную повинность: они старались держаться от него подальше, словно боялись испачкаться, глядели косо, как будто спрашивая, скоро ли он намерен убраться, и он часто замечал, что хозяйка, растроганная его печальной историей и слезами, очень скоро начинала раскаиваться в своем мягкосердечии. Безногий был уверен, что все они пускают его в дом, поят и кормят, чтобы заглушить угрызения совести. Он считал, что все они виноваты перед бездомными детьми, и испытывал к своим благодетелям самую настоящую ненависть. Величайшей и, быть может, единственной его отрадой было представлять себе, какому отчаянию предаются ограбленные, когда до них доходит, что именно тот голодный мальчишка, которого они покормили и приютили, навел на их дом банду таких же изголодавшихся юнцов и показал, где хранятся ценности.

Но на этот раз все было по-другому. На этот раз его накормили не на кухне, спать положили не во дворе. На этот раз дали комнату, его одели во все новое, а обедать позвали в столовую. Его принимали как долгожданного, дорогого гостя. И Безногий, после каждой затяжки пряча сигарету в кулак (он сам удивлялся этому), пытается понять, почему так вышло, и не понимает. Сморщив лоб от напряжения, Безногий думает. Вспоминаются ему дни, проведенные в тюрьме, как его мучили там, и сны, не дающие ему с тех пор покоя. Внезапно его пронизывает страх перед людьми, которые так ласково отнеслись к нему, — нестерпимый страх. Он не знает, откуда взялся этот страх, но совладать с ним не может. Он поднимается на ноги и с сигаретой в зубах шагает прямо к окошку доны Эстер: пусть видит, с кем имеет дело, пусть знает, что он не заслуживает ни отдельной комнаты, ни сытного обеда, ни этого матросского костюма. Пусть отошлют его на кухню, на подобающее такому пропащему месту, — там снова зародится в его душе жажда мести и нетронутым будет запас ненависти. Исчезнет она — и он умрет, потому что ему нечем будет жить. Перед глазами его проносится образ того человека в жилете, который так утробно хохотал, глядя, как лупцуют Безногого солдаты. Склонится ли над ним милосердная донна Эстер, обнимут ли, даруя защиту, руки падре Жозе, почувствует ли он могучее плечо забастовщика Жоана де Адана, образ мужчины в жилете всегда тут как тут: он не даст ему поверить ни в доброту, ни в братство. Безногий всегда будет сам по себе, один со своей ненавистью, обращенной на белых и негров, на мужчин и женщин, на

богатых и бедных, — потому он и не хочет, чтобы относились к нему хорошо.

К вечеру вернулся домой хозяин, сеньор Раул, — весьма известный в Баии адвокат, разбогатевший на удачных защитах, профессор юридического факультета, но прежде всего — знаменитый коллекционер, обладатель прекрасного собрания картин, старинных монет и антиквариата. Безногий в эту минуту рассматривал гравюры в детской книжке, потешаясь над незадачливым слоном, которого обдурила обезьяна. Раул, не замечая мальчика, поднялся по лестнице. Но через минуту прибежала горничная и повела Безногого в комнату доны Эстер. Раул, уже без пиджака, с сигарой во рту, поглядел на него с приветливым любопытством, а Безногий, напустив на себя вид крайнего замешательства, затоптался на пороге.

— Проходи.

Безногий вошел, прихрамывая, не зная, куда девать руки. Дона Эстер ласково сказала:

— Сядь, мой мальчик, не бойся.

Безногий опустил на самый краешек стула. Адвокат разглядывал его пристально, но доброжелательно, и мальчик приготовился отвечать на неизбежные вопросы. Он снова повторил все, что было рассказано утром, но когда в нужном месте заплакал в три ручья, Раул остановил его, поднялся и отошел к окну. Безногий понял, что хозяин растрогался, и мысленно похвалил себя, гордясь своим актерским даром. Но тут адвокат повернулся, шагнул к доне Эстер, поцеловал ее — в лоб, а потом в губы. Безногий потупился. Адвокат положил ему руку на плечо:

— Ты никогда больше не будешь голодать. А сейчас... Сейчас пойдешь поиграй во что-нибудь или книжку посмотри... Вечером ходим в кино. Ты любишь кино?

— Люблю, сеньор.

Адвокат жестом отпустил его, но, выходя из комнаты, безногий успел заметить, как тот обнял жену и сказал ей:

— Ты — святая. Что ж, давай возьмем его к нам. Вырастим его.

Наступал вечер, темнело, зажглись фонари, и Безногий подумал, что, наверно, в этот час шайка, как всегда носится по городу в поисках пропитания.

...Очень жалко было, что нельзя завопить от восторга, когда герой фильма вздул наконец того гада. Безногий понимал, что это тебе не галерка в «Олимпии» и не тот захудалый кинотеатрик в Итапажипе, куда ему случалось проникать без билета, — здесь, сидя в мягком кресле «Гуарани», кино полагалось смотреть молча. Когда же он все-таки не выдержал и

свистнул, Раул покосился на него. Правда, улыбнулся, но и прижал палец к губам: нельзя, мол, неприлично.

Потом его повели в бар напротив кинотеатра и угостили мороженым. Безногий ел и думал о том, что чуть было не допустил непоправимой ошибки: когда адвокат спросил, чем его угостить, он едва не ляпнул: «Пивка бы похолодней», но вовремя прикусил язык.

Адвокат сам вел машину, а дона Эстер с Безногим сидели сзади. Отвечать на вопросы было сущей мукой: все время приходилось следить, как бы не сорвалось неподобающее словечко из лексикона «капитанов». Дона Эстер расспрашивала его о бедной покойной мамочке, и Безногий выкручивался как мог, стараясь помнить, что он наврал раньше, чтобы не запутаться вконец. Добрались до дому, и дона Эстер проводила мальчика в его комнату.

— Тебе не будет страшно одному?

— Нет, сеньора.

— Ты проживешь первое время тут, а потом переберешься наверх, в комнату Аугусто.

— Да зачем же, дона Эстер, мне и здесь хорошо...

Она наклонилась, поцеловала его в щеку:

— Доброй ночи, мой мальчик, — и вышла, прикрыв за собой дверь.

А Безногий так и стоял посреди комнаты, не в силах сдвинуться с места, не в силах ответить «спокойной ночи». Он прижимал ладонь к щеке, до которой дотронулись губы доны Эстер. Мысли его путались. В глазах потемнело, он ничего не ощущал, кроме этого нежного прикосновения, кроме этой неведомой ему материнской ласки. Кроме этого поцелуя. Ему казалось, что земля на миг остановилась: отныне все было преображено этим поцелуем. Ничего не существовало больше в мире — только материнский поцелуй, горевший у него на щеке.

Потом начался обычный ужас кошмарных снов: смеялся мужчина в жилете, глядя, как солдаты гоняют Безногого из угла в угол. Но потом вдруг появилась дона Эстер, а Безногий сжал в руке неизвестно откуда взявшийся кнут — как у того парня из фильма, — и человек в жилете погиб вместе с солдатами лютой смертью...

Минула неделя. Педро Пуля уже несколько раз приходил к особняку, ожидая вестей от Безногого, который все не возвращался в пакгауз, хотя за это время можно было двадцать раз выяснить, где хранятся ценности и куда бежать в случае опасности. Но вместо Безногого Педро встречал горничную: она-то думала, что это ради нее торчит он возле адвокатского

особняка. Однажды Педро словно невзначай задал ей вопрос:

— Что это за парнишка у вас там объявился?

— Хозяйка взяла его на воспитание. Славный мальчуган.

Педро подавил улыбку: он знал, что Безногий, если захочет, сойдет за паиньку.

— Годами он чуть тебя постарше, — продолжала горничная, — но совсем еще ребенок. Он-то небось ни с кем еще не путался, не то что ты, отпетый...

— Ты же меня и совратила, вовлекла в разврат.

— Будет врать-то!

— Ей-Богу.

Хотя у нее были веские причины сомневаться в правильности его слов, она предпочла поверить Педро: это польстило ей. Теперь в ее отношении к нему сквозила покровительственная нежность.

— Ну, ладно. Сегодня научу тебя еще кое-чему....

— Как всегда, на углу... А скажи-ка мне: с ним-то ты еще не спишь?

— Да он еще глупенький, в таких делах толку не знает. Ты что, дурень, вздумал ревновать? Разве не видишь, что мне никого не надо?..

В другой раз Педро высмотрел все-таки Безногого. Тот лежал на траве в саду, перелистывая книжку с картинками, рядом мурлыкал кот. Педро поразился тому, что приятель его одет в серые кашемировые брючки и шелковую рубашку, волосы аккуратно причесаны. Он остолбенел при виде всего этого и не сразу решил подать ему сигнал, но, придя наконец в себя, свистнул, и Безногий, мигом вскочив, заметил его на противоположном тротуаре. Он сделал ему знак — подожди, мол, — огляделся по сторонам и, увидев, что поблизости никого, вышел из калитки.

Педро шагал по улице, а Безногий следовал за ним в нескольких шагах, потом подошел вплотную, и Педро испытал новое потрясение:

— Ах, чтоб тебя!.. Духами так и разит!

Безногий скорчил унылую мину, но Педро никак не мог успокоиться:

— А вырядился-то! Кот подохнет от зависти! Придешь в таком наряде в «норку» (так называли они свой пакгауз) — все попадают. Еще, пожалуй, влюбится кто-нибудь, береги тогда...

— Ладно, не пыли. Я пока еще присматриваюсь, понял? Скоро скажу, когда вам приходиться.

— Что-то не больно скоро...

— Самое ценное у них под замком.

— Ну, смотри... — сказал Педро и добавил: — Гринго наш все еще так



себе, хоть и ползает. Температура держится: тридцать семь. Спасибо, дона Анинья напоила его каким-то настоем, ему сразу полегчало. А то не увидел бы ты его больше. Отощал сильно: одни кости торчат.

С этими словами он и ушел, на прощанье еще раз поторопив Безногого.

А Безногий снова растянулся на траве, взялся за книжку, но вместо картинок увидел перед собой Гринго. Никого в шайке не изводил он так, как этого паренька: тот был арабом, в разговоре смешно коверкал слова, чем давал Безногому нескончаемый повод для издевательства и насмешек. Гринго силой не отличался и потому не мог рассчитывать на заметное место в шайке, хотя Педро Пуля и Профессор очень бы хотели, чтоб одним из вожakov стал иностранец — или почти иностранец. Но Гринго довольствовался малым: подворовывал по мелочам, в рискованные дела старался не ввязываться и мечтал набрать целый ящик всяких безделушек, чтобы продавать их прислуге из богатых домов. Безногий донимал и дразнил его беспощадно: глумился над ним за его странный выговор, за трусоватость. Но сейчас он, красиво и чисто одетый, гладко причесанный, надушенный, лежит на мягкой густой траве, уставившись в книгу с картинками, а Гринго загибается там, в пакгаузе. Да ведь и не он один. Всю эту неделю Безногий мягко спит, вкусно ест, дона Эстер говорит ему «мальчик мой» и целует, а «капитаны» по-прежнему ходят в отрепьях, голодают, ночуют в дырявом пакгаузе или под мостом. Безногий почувствовал себя предателем. Он ничем не лучше того грузчика, о котором Жоан де Адан даже говорить не хотел — только сплевывал и растирал плевков подошвой, — того грузчика, что во время большой забастовки переметнулся к врагам, стал изменником, помогал вербовать рабочих взамен тех, которые грузить суда отказались. С тех пор ни один портовик не взглянул в его сторону, не протянул ему руки... А Безногий, который ненавидел весь мир, делал исключение только для мальчишек, собравшихся в шайку и назвавших себя «капитанами песка»: они были его товарищами, они были такими же, как он, — жертвами всех остальных людей. И вот теперь ему казалось, что он бросил их, предал, изменил им. Мысль эта так поразила его, что он приподнялся и сел. Нет, он не предал их. У них есть закон: тех, кто нарушает его, изгоняют из шайки, и после этого добра не жди. Но никто еще не нарушал закон так, как собирается сделать это он, Безногий: неужто он и вправду хочет быть барчуком и неженкой, пай-мальчиком — ведь он сам первый всегда издевался над ними? Нет, он не предатель. Трех дней хватило бы, чтоб узнать, где хранятся в доме самые дорогие вещи. Но вкусная еда, чистая одежда,

собственная комната и нечто большее, чем еда, одежда и комната — нежность доны Эстер — задержали его здесь на целых восемь дней. Он продался за эту нежность, как тот грузчик — за деньги хозяев. Нет, своих товарищей он не предаст. А дону Эстер? Ведь она верит ему, верит и доверяет. И у нее в доме, как и в портовом пакгаузе, превыше всего блюдут закон: за провинность — карать, за добро — платить добром. А теперь Безногий преступит его, оплатит за добро злом. Он вспомнил, какая радость обуревала его, когда он уходил из дома, в который должны были потом проникнуть «капитаны». А сейчас ему грустно. Он по-прежнему ненавидит всех, кроме своих товарищей, но отныне исключение будет делаться и для обитателей этого особняка, потому что донна Эстер целовала его и называла «мой мальчик». Безногий боролся с собой. Он уже привык к такой жизни. Но как же быть с «капитанами»? Ведь он — один из них, он никогда не перестанет быть членом шайки, потому что придет день, когда солдаты снова примутся истязать его, а человек в жилете утробно захохочет... И Безногий решился. Но потом, с любовью взглянув на окно комнаты доны Эстер, заплакал. Она заметила это:

— Что с тобой, Аугусто? — и, отпрянув от окна, через мгновение появилась в саду.

Тут только Безногий почувствовал, что лицо у него мокро от слез. Он сердито вытер глаза, кусанул себя за руку, чтоб успокоиться. Донна Эстер подошла к нему совсем близко:

— Ты плачешь, Аугусто? Что-нибудь случилось?

— Нет, сеньора, все в порядке. И я не плачу.

— Зачем ты меня обманываешь, сынок? Разве я не вижу? Что случилось? Ты вспомнил о маме?

Она притянула его к себе, усадила рядом с собой на скамейку, по-матерински нежно привлекла его голову к своей груди.

— Не плачь. Я ведь так тебя люблю и сделаю все, чтобы возместить тебе твои утраты, — говорила она, но Безногий слышал в ее словах: «А себе — свои».

Донна Эстер поцеловала его в мокрую от слез теку.

— Не плачь, не огорчай свою мамочку.

Тогда крепко сжатые губы мальчика разомкнулись, и он, прижавшись к груди матери, заплакал навзрыд. Он обнимал ее, и не противился ее поцелуям, и горько плакал, потому что завтра же должен был покинуть ее, — не только покинуть, но и ограбить. Она так никогда и не узнала, что Безногий грабил и себя самого. Она так никогда и не узнала, что слезы Безноглого были мольбой о прощении.

Отъезд Раула в Рио-де-Жанейро — его призывали туда какие-то важные дела — ускорил события. Безногий решил, что лучшего времени для налета уже не представится.

В тот день он обошел весь дом, погладил кота Брелка, поболтал со служанкой, перелистал книжку с картинками. Потом постучался к доне Эстер, сказал, что пойдет погулять — недалеко, на Кампо-Гранде. Она сказала ему, что Раул обещал привезти ему из столицы велосипед, и тогда он больше не будет ходить пешком, а будет кататься в свое удовольствие. Безногий опустил голову, а потом вдруг подошел к доне Эстер и поцеловал ее. Та была счастлива: ведь раньше этого никогда не бывало. Потом он с трудом, точно выталкивая из себя каждое слово, проговорил:

— Вы очень хорошая. Я никогда вас не забуду.

Потом вышел из дому и не вернулся. Ночь он провел в пакгаузе, в своем углу. Педро Пуля с дружками отправился в дом адвоката, а все остальные столпились вокруг Безногого, дивясь его нарядному костюму, приглаженным волосам, тонкому аромату одеколona. Но Безногий оттолкнул одного, ударил другого и, что-то злобно бормоча, забился в угол. Там он и просидел, грызя ногти, даже не пытаясь уснуть, до тех пор, пока не вернулись Педро и его сподвижники. Они рассказали, что все прошло на редкость гладко: в доме никто даже не проснулся. Хватятся, наверно, только завтра утром. Педро показал ему золотые и серебряные вещицы:

— Знаешь, сколько нам отвалит за это Гонсалес?!

Безногий зажмурился, чтобы ничего не видеть. Потом, когда все пошли спать, растолкал Кота:

— Давай махнемся!

— Что на что?

— Я тебе отдам эти тряпки, а ты мне — свое барахло.

Кот поглядел на него с изумлением. Он, конечно, был одет лучше всех в шайке, но все это было сильно поношенное и не шло ни в какое сравнение с кашемировым костюмчиком Безногого. «Спятил», — подумал Кот, но язык сам выговорил:

— Давай.

Они обменялись одеждой, и Безногий снова забился в свой угол.

...Доктор Раул идет по улице с двумя полицейскими. Это те самые, что избивали Безногого в тюрьме. Безногий пытается бежать, но Раул показывает на него тем двоим, и они приводят его в камеру. Все повторяется: солдаты, хлеща его резиновыми дубинками, гонят его от стены к стене, а человек в жилете заливается смехом. Только теперь в

комнате стоит еще и дона Эстер, стоит и печально смотрит на него и говорит, что отныне — он ей не сын, он — вор. В глазах у нее тоска, которая мучает его сильнее, чем удары, чем издевательский смех...

Он проснулся весь в поту, выскочил из пакгауза в ночную тьму и до рассвета бродил по песчаному пляжу. Вечером Падро Пуля принес ему его долю, но Безногий, не вдаваясь в объяснения, денег не взял. Потом в пакгаузе появился Вертун с газетой, где опять была напечатана статья про Лампиана. Профессор прочел ее вслух, потом стал проглядывать другие заметки и вдруг закричал:

— Безногий! Безногий! Тот подошел. За ним — остальные. Стали в кружок.

— Про тебя пишут, — сказал Профессор и прочел:

Безногий молчал, кусая губу.

— Выходит, еще не обнаружили пропажу, — сказал Профессор.

Безногий только кивнул в ответ. Когда хватятся, искать станут уже не как сына хозяев... Негритенок Барандан скорчил насмешливую гримасу и закричал:

— Родственнички по тебе соскучились, Безногий! Чего ж ты не идешь к мамочке, она тебе даст грудь...

Он не успел договорить, — Безногий подмял его под себя и занес над ним нож. Негритенок вряд ли ушел бы живым, если бы Большой Жоан и Вертун не оторвали от него Безногого. Напуганный Барандан убежал. Безногий, скользнув по лицам ненавидящим взглядом, захромал в свой угол. Педро догнал его, взял за плечо.

— Может, они и вообще ничего не заметят. И на тебя не подумают. Брось, не переживай...

— Доктор Раул вернется, и все сразу обнаружится...

И он зарыдал так, что все остолбенели. Только Педро и Профессор поняли, в чем дело, — один все разводил руками, не зная, как тут помочь, а другой завел долгий рассказ про какой-то давний налет. За стенами пакгауза протяжно завывал ветер, точно жаловался на что-то.

## Утро — как на картинке

Педро Пуля, шагая по спуску Монтанья, думает, что ничего нет на свете лучше, чем бродить вот так, наугад, без цели, по улицам Баии — иные покрыты асфальтом, большая часть вымощена черным камнем. Опершись о подоконники, выглядывают на улицу девушки, и сразу не понять, то ли романтически настроенная швейка мечтает о богатом женихе, то ли проститутка высматривает клиента с балкона, увитого плющом. Женщины под черными покрывалами входят под своды церквей. Солнце накаляет торцы мостовой, заставляет вспыхивать черепицу на крышах. На балконе одного из домов — множество цветов в убогих жестянках: солнце выдает им положенную на день порцию света. С колокольни церкви Консейсан-да-Прайа несется перезвон, и женщины под черными покрывалами ускоряют шаги. Прямо на мостовой двое — негр и мулат — заняты игрой: негр только что выбросил кости из стаканчика, и оба склонились над ними. Педро Пуля, проходя мимо, приветствует негра:

— Здорово, Сова!

— А-а, это ты, Пуля! Как делишки?

И тотчас отворачивается — пришла очередь мулата бросать кости. Педро продолжает путь. Рядом, подавшись всем своим щуплым телом вперед, одолевает крутой подъем Профессор. Он тоже улыбается этому ликующему дню. Обернувшись на ходу, видит его улыбку Педро. Весь город пронизан солнцем, напоен радостью. «У нас в Баии — каждый день как праздник», — думает Педро, ощущая что и его душа полнится радостью. Он лихо свистит, хлопает Профессора по плечу. Оба смеются, а потом начинают хохотать во все горло. В кармане у них чуть побрякивают медяки, одеты оба в отрепья и не знают, будут ли сегодня сыты, но зато прелесть этого дня принадлежит им, и они свободны — шагай себе по улицам Баии куда глаза глядят. Вот они и шагают, хохоча сами не зная, над чем. Рука Педро лежит на плече Профессора. Отсюда видны им и рынок, и причал, возле которого покачиваются баркасы, и даже старый пакгауз, где они ночуют. Педро, привалившись спиной к стене, говорит Профессору:

— Вот что тебе бы надо нарисовать. Видишь, красота какая...

Профессор мрачнеет:

— Никогда этого не будет.

— Почему?

— Когда я смотрю на все это... — Он показывает на раскинувшуюся внизу гавань: парусники отсюда кажутся игрушечными, а торопливо снующие с мешками за спиной фигурки грузчиков — совсем крошечными. — Мне ужасно хочется нарисовать... — продолжает он так, словно кто-то его обидел.

— Да у тебя ж талант! Тебе б еще подучиться...

— ...но знаю, что этой радости мне не передать. — Профессор как будто не слышит слов друга; глаза его устремлены вдаль, а сам он сейчас кажется еще более тщедушным, чем всегда.

— Почему? — изумляется Педро.

— Видишь, как это прекрасно и радостно? Все ликуют...

— Ярче радуги, — говорит Педро, показывая на россыпь разноцветных крыш Нижнего Города.

— Да. А люди всегда печальны. Я не про богатых говорю, сам понимаешь. Я про тех — с причалов, из порта. Лица у них такие изголодавшиеся, что вся радость сразу меркнет.

Педро Пуля понимает, куда клонит его друг.

— Вот потому Жоан де Адан и устраивает забастовки. Он говорит, что все когда-нибудь перевернется, все будет наоборот.

— Я читал об этом... Жоан дал мне книжку... Хорошо бы, конечно, учиться. Я нарисовал бы тогда замечательную картину. Понимаешь, день вот такой, как сегодня, люди идут веселые, смеются, влюбленные целуются, как тогда, в Назарете, помнишь? Но где мне учиться? Я хочу, чтобы радостно все было, а вот люди у меня всегда получаются печальные. Я счастье хочу изобразить, да не выходит...

— А может, то, что у тебя получается, — тоже хорошо? Рисуй как рисуется. Может, красивей и не надо?

— Откуда ты знаешь? И откуда я знаю? Нас же с тобой никогда ничему не учили. Я хочу нарисовать лица людей, вот эти улицы, но так многого не умею, не понимаю...

Он помолчал, глядя на внимательно слушающего Педро.

— Слышал про школу «Белас-Артес»? Мне один раз удалось туда проникнуть. Ох и здорово там! Все в таких длинных блузах... На меня никто и не взглянул даже. Писали с натуры обнаженную женщину... А я...

Педро задумался о чем-то, окинул Профессора сосредоточенным взглядом, потом сказал очень серьезно;

— Сколько стоит?

— Что «сколько стоит»?

— Ну, обучение там сколько потянет?

— А тебе-то что?

— Мы бы скинулись, заплатили за тебя...

Профессор засмеялся:

— Не мели чепухи, Педро. Знаешь, как трудно туда поступить? Ничего не выйдет...

— Жоан сказал, что придет день, когда мы все сможем учиться.

Они пошли дальше, но теперь сияющий день больше не радовал Профессора, и мысли его витали неизвестно где. Тогда Педро легонько ткнул его в бок:

— А я бьюсь об заклад, что твои картины будут выставлены на улице Чили, хоть ты нигде и не учился. Дело тут не в ученье, а в таланте, а талант у тебя — ого-го!

Оба засмеялись, и Педро продолжал:

— И мой портрет нарисуешь, ладно? Нарисуешь и внизу подпишешь: «Педро Пуля, силач и удалец».

Он принял борцовскую стойку, согнул руки в локтях. Снова засмеялся Профессор, и Педро подхватил его смех. Все веселей и громче хохотали они, пока не наткнулись на кучку зевак, окруживших уличного гитариста. Он перебирал струны и пел:

Ты, уходя, «прощай» сказала,  
и сердце замерло в груди...

Друзья остановились, а потом подхватили. Вместе с музыкантами пели теперь рыбаки, докеры, портовые ребята, гуляющая девчонка. А гитарист, весь отдавшись мелодии, никого не замечал.

Так бы они стояли и пели, совсем забыв о том, куда шли, если бы музыкант, продолжая играть, не двинулся дальше. Он ушел и унес с собой свою музыку. Слушатели разбрелись; пробежал мальчишка-газетчик. Профессор и Педро зашагали по направлению к Верхнему Городу. Пересекли Театральную площадь, поднялись на улицу Чили, и здесь Профессор, достав из кармана мелок, уселся на тротуаре. Педро пристроился рядышком. Когда невдалеке показалась парочка, Профессор начал рисовать, торопясь изо всех сил. Пара приближалась, и он теперь отделявал лица. Девушка улыбалась. Жених и невеста, ясное дело. Но оба были так поглощены разговором, что чуть было не прошли мимо, не

поглядев на рисунок. Педро пришлось вмешаться:

— Не наступите на свою девушку, сеньор...

Кавалер хотел уже шугануть его, но девушка взглянула себе под ноги:

— Ой, как хорошо! — и захлопала в ладоши, точно маленькая девочка, которой подарили куклу.

Посмотрел на рисунок и юноша. Улыбнувшись, обернулся к Педро:

— Это ты нарисовал?

— Вот он — знаменитый художник по имени Профессор.

Знаменитый художник тем временем отделял его закрученные усики, а потом стал растушевывать фигуру его спутницы. Та позировала ему, опираясь на руку кавалера, и оба заливались смехом. Молодой человек вытащил кошелек и бросил мальчишкам серебряную монету в два мильрейса. Педро подхватил ее на лету. Парочка удалилась. Двойной портрет остался на мостовой. Какие-то девицы, заметив его издали, устремились к нему, восклицая:

— Это, наверно, реклама нового фильма с Берримором! Говорят — чудо! А этот Берримор — такой красавец!..

Педро и Профессор рассмеялись и в обнимку беззаботно зашагали по улицам Баии.

На этот раз они остановились почти у самого правительственного дворца. Профессор с мелком наготове ждал, когда из трамвая выйдет достойная модель — «гусь» на их языке. Педро что-то насвистывал, прохаживаясь неподалеку. Вскоре они набрали денег на приличный обед, да еще хватило на подарок Кларе, возлюбленной Богумила, — у нее был день рождения.

Какая-то старушка дала им за свой портрет десять тостанов. Старушка была совсем нехороша собой, — и Профессор ничем ей не польстил.

— Сделал бы ее покрасивше да помоложе, она, глядишь, и расщедрилась бы.

Так провели они утро: Профессор рисовал портреты прохожих, Педро ловил мелочь, а иногда и серебро. Около полудня на улице показался какой-то мужчина, куривший сигарету в длинном, должно быть, дорогом мундштуке. Заметив его, Педро поспешил предупредить художника:

— Гляди, гляди, вот это «гусь». От денег небось карман лопается.

Профессор стал набрасывать мелом тощую фигуру прохожего, торчащий мундштук, крутые завитки волос, спускавшиеся из-под шляпы. Под мышкой он нес книгу, и Профессор почувствовал непреодолимое желание изобразить его читающим. Курильщик уже прошел мимо, но Педро окликнул его:



— Взгляните на свой портрет, сеньор.

— Что? — рассеянно переспросил тот, вытащив изо рта мундштук.

Педро показал ему на рисунок, над которым продолжал трудиться Профессор: прохожий был изображен сидящим (стула под ним не было, и потому казалось, что он парит в воздухе), кольца волос из-под полей шляпы, сигарета в зубах, книга в руках. Человек внимательно рассматривал себя, склоняя голову то к одному плечу, то к другому, молчал. Когда же Профессор разогнулся, сочтя работу завершённой, тот спросил:

— Дорогой мой, где ты учился рисунку?

— Нигде...

— Как это «нигде»?

— Да вот так.

— А как же ты рисуешь?

— Так и рисую. Придет охота порисовать, я и рисую.

Прохожий глядел на него недоверчиво, но тут на память ему пришли схожие случаи:

— То есть ты утверждаешь, что нигде и ни у кого не учился?

— Нигде и ни у кого.

— Он не врет, — вмешался в разговор Педро. — Мы живем вместе, я все про него знаю.

— Настоящий дар Божий... — прошептал тот.

Он снова впился глазами в свой портрет. Глубоко затянулся и выпустил клуб дыма. Мальчишки как зачарованные смотрели на его мундштук. Наконец он нарушил молчание:

— Почему ты нарисовал меня читающим?

Профессор, не зная что ответить, почесал в затылке. Педро открыл рот, но ничего не сказал: он был совсем сбит с толку.

— Я думал, так будет лучше, — наконец выдавил из себя Профессор, снова почесав в затылке. — Ей-Богу, не знаю...

— Дар Божий... — еще раз прошептал человек с мундштуком: вид у него был такой, точно он совершил открытие.

Педро ждал, когда же тот полезет за кошельком: полицейский на углу давно уже посматривал на них с подозрением. Профессор не сводил восторженных глаз с мундштука — вот чудо из чудес. Но прохожий все не уходил.

— Где ты живешь? — спросил он.

Педро не дал Профессору и рта открыть:

— В Сидаде-да-Палья.

Прохожий достал из кармана визитную карточку...

— Читать умеешь?

— Умеем, сеньор, — отвечал тот.

— Вот здесь указан мой адрес. Разыщи меня. Может быть, что-нибудь удастся для тебя сделать.

Профессор взял карточку. К ним уже направлялся полицейский. Педро стал прощаться.

— Счастливо оставаться, сеньор доктор!

Тот полез было за кошельком, но, перехватив взгляд Профессора, выбросил сигарету, а мундштук протянул мальчику:

— Вот тебе в уплату за портрет. Итак, я жду тебя.

Но мальчишек как ветром сдуло: полицейский был уже в двух шагах. Прохожий растерянно посмотрел им вслед.

— У вас что-нибудь пропало, сеньор? — раздался под ухом голос полицейского.

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Да эти оборванцы терлись возле вас...

— Но это же дети. А у одного — удивительный талант рисовальщика.

— Жулье! — отрубил полицейский. — Они из шайки «капитанов песка».

— «Капитанов»? — сморщил лоб прохожий. — Позвольте, я что-то читал про них. Это, кажется, бездомные дети, оставленные на произвол судьбы?

— Говорю вам, воры они! Осторожней надо быть, сеньор, когда они к вам приближаются. Посмотрите, на месте ли у вас бумажник и часы.

Прохожий отмахнулся и оглядел улицу, но она была пуста. Он еще раз заверил полицейского, что ничего не пропало, и двинулся вниз, шепча себе под нос:

— Вот так и погибают недюжинные дарования... Какой художник получился бы из него.

Полицейский проводил его взглядом и заметил, обращаясь, очевидно, к пуговицам своего мундира:

— Правильно говорят, что у поэтов не все дома.

Профессор рассматривал мундштук. Сейчас они с Педро сидели у черного хода в шикарный ресторан, помещавшийся в небоскребе. Педро знал, как выманить у повара остатки от обедов, и теперь они ждали, когда он вынесет им поесть. Окончив трапезу, достали сигареты, и Профессор решил опробовать подаренный мундштук, предварительно почистив его:

— Тот чудак был тощий, как скелет... А вдруг у него чахотка?

Не найдя ничего подходящего, он свернул в трубочку визитную карточку, как шомполом, повертел ею в мундштуке и выбросил.

— Ты зачем выкинул? — спросил Педро.

— А на что она мне? — засмеялся Профессор. Педро тоже стало смешно, и некоторое время над пустынной улицей звучал их хохот. Смеялись они просто так, без причины — приятно было посмеяться.

— А ведь этот дядька мог бы тебе помочь, — сказал Педро, вдруг оборвав смех. Он подобрал карточку и прочел напечатанную на ней фамилию. — Спрячь-ка лучше. Пригодится.

— Хватит вздор-то молоть, Педро... — понуро ответил тот. — Как будто сам не знаешь, что нам всем одна дорога — по карманам шарить, по квартирам лазить... Кому до нас есть дело? Кому, я тебя спрашиваю? Только ворьем мы станем, только ворьем! — И в его голосе зазвучала ярость.

Педро кивнул и разжал пальцы. Карточка упала на мостовую. Больше они уже не смеялись, хотя напоенное солнцем утро было по-прежнему радостно и прекрасно. Утро было — как с картины кого-нибудь из выпускников школы «Белас-Артес».

Мимо шли с обеда рабочие: вот и все, что видели двое друзей, вот и все, что удавалось им разглядеть в это утро.

## Оспа

Богиня Омолу поразила Баию черной оспой. Но богатые люди, жившие в кварталах Верхнего Города, сделали себе прививки, а Омолу была родом из дремучих африканских лесов и в таких тонкостях, как вакцина, не разбиралась. И оспа ринулась в кварталы бедняков, поражая их, покрывая их тела язвами. Потом появлялись санитары, хватали заболевших и в мешках увозили в отдаленные больницы. Женщины плакали, ибо знали, что никогда больше не увидятся со своими мужьями.

Да, богиня наслала черную оспу на богачей: откуда ей, дикой богине из африканских лесов, было знать о вакцине и прочих достижениях науки?! Но сделанного не воротишь, черная смерть сорвалась с привязи и пошла гулять по городу, и Омолу ничего уже не оставалось, как разрешить ей делать свое дело. Но все же богине жаль стало неимущих своих детей, и она превратила черную оспу — в ветряную, глупую и безобидную болезнь не опасней кори. Но санитары все равно продолжали врывать в дома бедняков и забирать больных в лазареты за городской чертой. Навещать их не полагалось, и больные по целым дням никого не видели. О смерти их никому не сообщали, а если кто-то чудом возвращался домой, на него глядели как на воскресшего из мертвых. Газеты писали об эпидемии и о необходимости поголовного оспопрививания. На кандомбле день и ночь грохотали барабаны — нужно было умиловить грозную богиню, утишить ее гнев. Но Омолу была непреклонна, Омолу сопротивлялась вакцине.

В жалких домишках бедняков плакали женщины от страха перед заразой, от страха перед больницей.

В шайке первым заболел Алмиро. Однажды ночью, когда негритенок Барандан, невзирая на строжайший запрет Педро Пули, пробрался к Алмиро в уголок, тот пожаловался:

— Ужас как все тело чешется, — и показал покрытые нарывами руки. — Кажется, у меня жар.

Барандан был паренек не робкого десятка, все это знали. Но унаследованный от многих поколений африканских предков ужас перед оспой, перед недугом Омолу был у него в крови. И потому, забыв про то, что его отношения с Алмиро могут стать всем известны, он шарханул в сторону, натываясь на спящих и вопя:

— У Алмиро — оспа! У Алмиро — оспа!

Все повскакали на ноги и с опаской подошли к больному. Алмиро зарыдал. Педро Пуля еще не вернулся. Не было ни Профессора, ни Кота, ни Большого Жоана, так что командование принял на себя Безногий. В последнее время он ходил мрачнее тучи, почти ни с кем не разговаривал, а если раскрывал рот, то лишь для того, чтобы поиздеваться над кем-нибудь, затеять ссору с каждым, кто подвернется под руку. Исключение он делал лишь для Педро. Леденчик молился за него горячее и чаще, чем за остальных, и временами с ужасом думал, что Безногого обуял нечистый. Падре Жозе Педро был с ним, как всегда, кроток и терпелив, но Безногий сторонился его: он знать никого не хотел, а если встречал в чей-нибудь разговор, то через минуту начиналась драка.

Когда он направился к Алмиро, все поспешно расступились перед ним: Безногий внушал мальчишкам не меньший страх, чем оспа. Несколько дней назад в пакгауз забежал изголодавшийся щенок: сначала Безногий мучил его, но потом привязался, полюбил и теперь постоянно возился с ним, словно в нем заключался для него смысл жизни. Вот и теперь он отвел пса подальше от Алмиро, а потом вернулся к больному. «Капитаны» старались близко не подходить, издали разглядывали нарывы, покрывавшие его грудь. Прежде всего Безногий гнусавым голосом пообещал Барандану:

— Ага, негр безмозглый, ты с ним путался, — теперь и у тебя высыпет на этом самом месте.

Барандан поглядел на него с ужасом. Потом Безногий заявил, обращаясь ко всем:

— Что ж, и нам по милости этого сосунка прикажете оспой болеть?

Мальчишки выжидательно молчали. Алмиро, закрыв лицо руками, прижавшись к стене, плакал навзрыд. Безногий продолжал:

— Он сию минуту уйдет отсюда. Понял, Алмиро? Уйдешь из пакгауза, сядешь где-нибудь на улице, чтобы эти кошколовы-санитары тебя подобрали и свезли в больничку.

— Нет! Нет! — закричал в ужасе Алмиро.

— Не нет, а да. Сюда мы их звать не будем: незачем им знать, где наша «норка». А ты собери все свое барахло и выметайся отсюда к чертовой матери, пока всех не перезаразил.

Алмиро все твердил «нет, нет!» и рыдал все громче. Негритенок Барандан дрожал всем телом, Леденчик сказал, что это Божья кара за грехи, остальные замерли в растерянности. Безногий уже собрался силой выкинуть Алмиро за порог, но тут Леденчик, крепко прижав к груди образок Пречистой Девы, воскликнул:

— Надо молиться! Это Господь карает нас за наши прегрешения! Мы погрязли в грехах, вот Господь и покарал нас. Молитесь! Вымаливайте прощения! — Звучный голос его возвещал еще больше беды.

Кое-кто молитвенно стиснул ладони, и Леденчик начал читать «Отче наш». Но Безногий отпихнул его в сторону:

— Сгинь, святоша!

Но тот продолжал молиться вслух. Алмиро плакал и повторял: «Нет! Нет!» Остальные стояли в растерянности. Барандан трясся от страха, думая, что уже подцепил заразу.

— Ну, вот что, — снова заговорил Безногий. — Добром не пойдешь — мы тебя выкинем силой. А иначе все подохнем! Вы что, не понимаете? Надо убрать его отсюда, а на улице его подберут санитары, свезут в больницу.

— Нет. Нет. Ради Бога, нет, — всхлипывал Алмиро.

— Это кара... — твердил Леденчик.

— Заткни глотку! — прикрикнул Безногий. — Бери его, ребята, раз сам не хочет идти.

Видя, что «капитаны» мнутя в нерешительности, он подошел к Алмиро и уже приготовился дать ему пинка:

— Кому сказано? Проваливай вместе со своими болячками!

Алмиро съежился

— Нет! Ты не имеешь права, Безногий! Я тоже — «капитан». Пусть Педро придет...

— Это Божья кара, Божья кара... — повторял Леденчик, и Безногий вконец разъярившись от этих слов, пнул Алмиро ногой:

— Убирайся, зараза! Убирайся, херувимчик!

Но в эту минуту кто-то схватил его за плечо и отшвырнул в сторону.

Это был Вертун с револьвером в руке. Он загородил Алмиро собой, глаза его сверкали, как вспышки выстрелов.

— Кто подойдет — схлопочет пулю! — сказал он, с мрачной угрозой оглядывая лица стоявших перед ним.

— Какого черта ты вылез? — Безногий все еще надеялся переломить ход дела в свою пользу.

— Алмиро — член шайки. Он — наш. Он правильно говорит. Выкидывать его вон я не позволю. Что он — солдат, «фараон»? Дождемся Педро, ему решать. А до его прихода, чтоб никто не смел трогать Алмиро, — пристрелю, как легавого.

«Капитаны» разбрелись кто куда. Безногий сплюнул с досады:

— Все вы — погань трусливая... — и отошел. Он улегся на полу

рядом со своей собакой, и те, кто находился поблизости, слышали, как он бормотал: «Трусы, трусы».

Вертун, не выпуская из рук револьвера, стоял, загоразивая собой Алмиро, а тот продолжал плакать, поглядывая на язвочки, усеявшие все его тело. Леденчик молился, прося Господа явить не справедливость, но милосердие.

Потом он вспомнил о падре Жозе Педро и опрометью выбежал из пакгауза. Но и торопясь к дому падре, он продолжал молиться, и страх перед гневом Бога застигал ему глаза.

Через некоторое время вернулся Педро Пуля в сопровождении Профессора и Большого Жоана. Предприятие их увенчалось успехом, и они, смеясь, обсуждали подробности. Кот — он тоже ходил с ними — заглянул по дороге к Далве. Войдя в пакгауз, троица прежде всего увидела Вертуна с револьвером в руке.

— Это еще что такое? — спросил Педро.

Безногий поднялся и вместе со своим псом подошел к ним.

— Вертун, тварь сертанская, не дает нам сделать как решили. — Он кивнул в сторону Алмиро. — У нашего ангелочка — оспа.

Большой Жоан съежился. Педро поглядел на Алмиро. Профессор шагнул к Вертуну.

— Расскажи, как было дело, — велел Педро.

— Малец подцепил проклятую заразу. — Вертун показал на плачущего Алмиро. — А сволочь Безногий — хуже полицейского — хотел выкинуть его на улицу, чтоб санитары забрали. Я до поры не встречал. А тот не хочет идти. Тогда все они, — он сплюнул, — решили выбросить его. А он говорит: подождите, Педро придет, рассудит. Я подумал: он верно говорит, и вступился. Нельзя так со своими поступать, это ж не полицейский...

— Ты хорошо сделал, Вертун, — хлопнул его по плечу Педро. — Так у тебя оспа?.. — спросил он у Алмиро.

Тот только кивнул, сотрясаясь от рыданий.

— А что ж мы можем сделать? — крикнул Безногий. — Сюда санитаров не позовешь: завтра же вся Баия будет знать, где скрываются «капитаны песка». Надо отвести его в город. Хочешь не хочешь, а надо...

— Не твое дело решать! — сказал Педро. — Чего ты раскомандовался? Отойди, пока я тебе не двинул.

И Безногий, бормоча что-то себе под нос, отошел. Щенок завозился у его ног, он пнул его, но тотчас, пожалев, притянул к себе и стал гладить, не

переставая наблюдать за тем, что происходило рядом.

А Педро Пуля подошел к Алмиро. Большой Жоан тоже было шагнул за ним, но не совладал с собой: страх перед оспой, живший в его душе, пересиливал даже его доброту. Рядом с Педро оказался один Профессор.

— Покажи-ка, — сказал он Алмиро.

Тот вытянул руки, сплошь покрытые язвочками.

— Пустяки, — облегченно вздохнул Профессор. — Когда настоящая оспа, нарывы сразу чернеют...

Педро размышлял. Молча прошелся по пакгаузу. Большой Жоан все-таки сумел победить свой страх и медленно, точно каждый шаг давался ему с невероятным трудом, подошел к Алмиро поближе. В эту минуту в двери влетел Леденчик, а за ним — падре. Он поздоровался, спросил, кто заболел. Леденчик показал на Алмиро, и падре опустился рядом с ним на пол, взял его руку, внимательно осмотрел. Потом сказал Педро:

— В госпиталь надо.

— В больницу?

— Да.

— Нельзя, — ответил Педро.

Безногий снова оказался рядом с ними.

— А я о чем толкую столько времени?! В больницу, в больницу!

— Никуда он не пойдет, — повторил Педро.

— Но почему, сын мой? — спросил падре.

— А потому, ваше преподобие, что из больницы никто еще не возвращался. Никто, понимаете? Алмиро — один из нас. Мы не можем это сделать.

— Но ведь есть закон...

— Умирать?

Падре смотрел на вожака «капитанов» широко раскрытыми глазами. Эти бездомные мальчишки словно задались целью каждый раз ошеломлять его: они гораздо умней, чем кажутся. А в глубине души он знал, что они правы.

— Никуда он не пойдет, — сказал Педро.

— Ну и что ж тогда ты собираешься делать?

— Сами выходим.

— Как?

— Позову матушку Аниныю.

— Она не умеет лечить оспу...

Педро растерялся и только после долгого молчания сказал:

— Все равно... Пусть лучше умрет здесь, чем в лазарете.



— Да он же всех перезаразит! — снова вмешался Безногий. — Мы все заболеем... — кричал он, обращаясь к остальным членам шайки. — Нельзя его оставлять!

— Заткнись, сволочь! — взвился Педро.

— А ведь он прав, — тихо сказал падре.

— Мы не отдадим его в больницу. Вы же добрый человек, падре, как вы не понимаете, что там-то он наверняка погибнет. Из этих барачков живыми не выходят.

Падре знал, что это правда, и молчал, смешавшись.

Тут подал голос Большой Жоан:

— А родных у него нет?

— У кого?

— У Алмиро. Есть, я вспомнил!

— Не пойду я домой, — снова зарыдал тот. — Я сбежал оттуда!

Педро наклонился к нему и ласково произнес:

— Успокойся, Алмюро. Сперва я схожу, поговорю с твоей матерью. Потом мы отведем тебя. Там вылечишься и ни в какую больницу не пойдешь. А падре пригласит доктора, так я говорю, ваше преподобие?

— Так, — отвечал падре Жозе Педро.

Существовал закон, в соответствии с которым граждане были обязаны извещать органы здравоохранения о всех случаях заболевания оспой, чтобы больные были немедленно изолированы. Падре Жозе Педро этот закон был известен, но он снова нарушил его, став на сторону «капитанов песка».

Мать Алмиро вместе со своим любовником жила за Сидаде-да-Палья: она была прачкой, сожитель ее ковырялся на своем крошечном наделе. Когда Педро разыскал ее, она едва не сошла с ума. Алмиро тотчас забрали из пакгауза, а вскоре падре привел врача. Однако, на беду, врач этот приискивал себе доходное местечко в городском санитарном управлении и потому немедля сообщил о больном куда следует. Алмиро все-таки увезли в больницу, а над головой падре стали собираться тучи: врач (он всем представлялся вольнодумцем, а на деле был порядочным мракобесом) донес и на него, обвинив в укрывательстве. Власти передали дело в канцелярию архиепископа. И вскоре падре был вызван к канонику, возглавлявшему это почтенное учреждение, и явился туда, не предвидя для себя ничего хорошего.

Тяжелые шторы, кресла с высокой спинкой, на одной стене — портрет Игнатия Лойолы, на другой — распятие. Длинный стол, дорогие ковры. Когда падре Жозе Педро вошел в эту комнату, сердце его билось учащенно.

Причины вызова были ему не совсем ясны, и поначалу он подумал даже, что вызван в епископский дворец для получения прихода, который он бесплодно ждал уже больше двух лет. «Неужели наконец получу приход?» — подумал он, и на губах его заиграла счастливая улыбка. Вот когда наконец он станет настоящим священнослужителем и души прихожан будут всецело вверены его попечению и духовному руководству. Вот когда он обретет полное право служить Господу. «Но как же оставить детей — бездомных и беспризорных детей Баии? — думал он, и к радости его примешивалась легкая печаль. Ведь он — один из немногих друзей этих мальчишек. Падре, который займет его место, возиться с ними не будет. Прочтет после обедни воскресную проповедь в колонии — и делу конец, а мальчишки — они и так-то не слишком жалуют священников — будут злиться оттого, что в этот день получают свою похлебку на полчаса позже». В ожидании приема падре Жозе Педро погрузился в невеселые размышления о своих подопечных. Нельзя сказать, что успехи велики, но ведь следует учесть, что начинал он на пустом месте и часто был вынужден поворачивать вспять. И выжидать удобного случая. Лишь совсем недавно удалось ему полностью завоевать доверие «капитанов»: ничего, что они не принимают всерьез его сан, — важно, что относятся к нему они как к другу. А для этого падре приходилось не раз поступаться своими принципами... Не беда: если хотя бы Леденчик оправдает его надежды, все простится. Случалось, что падре поступал вопреки тому, чему его учили, и даже совершал такое, что церковь осуждает. Но ведь ничего другого ему не оставалось... Вот тут-то он и сообразил, что вызвали его скорее всего как раз из-за этих мальчишек. Конечно, из-за них! Богомолки давно уже чешут языки насчет странной дружбы падре с малолетними жуликами... А тут еще эта история с Алмиро. Теперь можно не гадать о причинах вызова — дело ясное. Осознав это, падре Жозе Педро сильно испугался. Его строго накажут, и, разумеется, никакого прихода он не получит. А как он ему нужен!.. Ведь у него на руках — старуха мать, и сестра учится в педагогическом институте, — ей тоже надо помогать... И тут же подумал о том, что, быть может, все делал не так, как надо, и архиепископ им недоволен. А в семинарии его учили повиновению... И снова на ум пришли беспризорные баиянские мальчишки, мелькнули перед глазами лица Леденчика, Профессора, Педро, Безногого, Долдона, Кота. Их надо спасти, они еще дети... О детях сильнее всего тревожился Иисус Христос. Во что бы то ни стало их надо спасти! Не по своей вине творят они зло...

В эту минуту вошел каноник. Падре был так глубоко погружен в размышления, что совсем забыл о времени и не знал, давно ли сидит здесь.

Не сразу заметил он и вошедшего неслышными шагами каноника. Тот был высок ростом, худощав, угловат, одет в чистейшую сутану, редкие волосы тщательно приглажены, губы плотно сжаты. На шее висели четки. Весь облик его дышал святостью, и это не противоречило суровому взгляду, резким чертам лица, строго поджатым губам. Каноник не внушал симпатии; безупречность отделяла его от всего мира как панцирь, наглухо. Говорили, что он человек большого ума и строгих правил, блистательный проповедник, восхищались его незапятнанной репутацией. Остановившись, он внимательно оглядел приземистую фигуру падре, его грязную, в двух местах заштопанную сутану, заметив и его робкую позу, и то выражение добродушной простоватости, которое всегда было на его лице. За эти несколько минут каноник без труда прочел в бесхитростной душе падре все, что было ему нужно. Потом кашлянул. Падре Жозе Педро увидел каноника, вскочил, почтительно поцеловал ему руку.

— Садитесь. Мне надо с вами поговорить.

Ничего не выражавший взгляд скользнул по лицу падре. Каноник сел, стараясь, чтобы грязная сутана посетителя не прикасалась к его собственной — опрятной и отглаженной, скрестил руки на груди. Его голос удивительно не вязался со всем его обликом: он звучал с какой-то почти женственной мягкостью, но в каждом слове ясно чувствовалась непреклонная воля. Падре, склонив голову, ждал, когда каноник заговорит. И тот заговорил:

— На вас поступили весьма серьезные жалобы.

Падре Жозе Педро попытался изобразить на лице недоумение, но задача была ему явно не по силам, тем более что он продолжал думать о «капитанах». Губы каноника тронула легкая улыбка:

— Думаю, вы понимаете, о чем идет речь...

Падре смотрел на него широко открытыми глазами, но, спохватившись, потупился.

— Наверно, о детях...

— Грешник не может скрыть своего прегрешения, оно неотступно стоит перед его мысленным взором... — проговорил каноник, и при этих словах даже подобие сердечности исчезло.

Жозе Педро затрепетал. Начинается то, чего он так боялся: священнослужители, которым он обязан подчиняться и которые могли постичь истинную волю Господа, считают, что он вел себя неправильно. Он трепетал не перед каноником, и не потому, что боялся гнева архиепископа: падре Жозе Педро страшился нанести обиду Богу. И даже руки у него задрожали:

Голос каноника вновь смягчился, — он звучал теперь мягко и нежно, как у женщины — как у женщины, которая говорит мужчине, что никогда не будет принадлежать ему:

— Да, падре, нам неоднократно жаловались на вас, но его преосвященство закрывал на это глаза в надежде, что вы сами осознаете свои заблуждения и исправитесь...

Взгляд его был суров. Падре Жозе Педро опять опустил голову.

— Не так давно мы получили жалобу вдовы Сантос. Оказывается, вы не препятствовали банде каких-то мальчишек издеваться над нею. Точней говоря, вы даже подстрекали этих хулиганов. Что вы мне на это ответите, падре?

— Это неправда, сеньор каноник.

— Вы хотите сказать, что вдова Сантос лжет?

Каноник сверлил его глазами, но на этот раз падре выдержал его взгляд и повторил:

— Это неправда.

— Вам, должно быть, известно, что вдова Сантос — одна из самых ревностных и богобоязненных наших прихожанок, защитница благочестия и веры. Вам известно, как щедро она жертвует?..

— Я объясню, как было дело...

— Не перебивайте меня. Разве вас не учили в семинарии смиренно и почтительно слушать тех, кто призван руководить вами на стезе священнослужения? Впрочем, мне припоминается, что вы не были в числе первых учеников...

Падре Жозе Педро знал это, и не было необходимости напоминать, что в семинарии он считался из последних. Именно поэтому так боялся он совершить ошибку и оскорбить Господа. Наверно, каноник прав: ведь он такой умный и так близок к Господу, а это — больше чем ум, это высшая мудрость.

Каноник сделал небрежное движение, точно отбрасывая прочь историю со вдовой, и голос его опять зазвучал проникновенно и мягко:

— Теперь перейдем к гораздо более серьезному делу. По вашей вине, падре, у нас возникли трения с городскими властями. Вам известно, что вы натворили?

Падре и не пытался отрицать:

— Вы про мальчугана, захворавшего ветрянкой?

— Оспой, падре, оспой. Вы скрыли это от санитарных властей...

Вера падре Жозе Педро в милосердие Божье была беспредельна. Он часто думал, что Господь не осудит его за то, что он делал. И сейчас эта

вера придала ему сил выпрямиться и взглянуть в лицо каноника.

— Вы знаете, что такое лепрозорий? Каноник не ответил.

— Оттуда возвращаются единицы. А тут — мальчик, ребенок... Отправить его в бараки — все равно что совершить убийство!

— Это не наше дело, — произнес каноник тусклым, лишенным интонаций голосом, однако очень убежденно. — Это компетенция санитарного управления. А мы обязаны уважать закон.

— Даже если этот закон противоречит милосердию Господа?

— Что вы знаете о милосердии Господа? Не переоцениваете ли вы свой разум, берясь судить о божественных предначертаниях? Вас обуяла гордыня.

— Я хорошо знаю, что я — невежда, недостойный служить Богу, — попытался объяснить падре Жозе. — Но эти дети растут, как трава, до них никому нет дела, и потому я намеревался...

— Доброе намерение, не оправдывает дурных поступков, — прервал его каноник, и мягкость, с которой он произнес эти слова, противоречила заключенной в них непреклонности.

Падре опять почувствовал душевное смятение, но, обратив помыслы к Богу, сумел овладеть собой:

— Что же дурного в моих поступках? С этими мальчиками никто и никогда не говорил всерьез о Боге. Они не имеют представления о вере, они валят в одну кучу свитых и негритянских идолов. Я хотел спасти заблуждающихся...

— Я ведь уже сказал вам, что вы действовали из благородных побуждений, но деяния ваши оказались пагубны...

— Но ведь вы не знаете этих мальчишек! — воскликнул падре и тотчас почувствовал на себе острый взгляд каноника. — Они еще дети по годам и взрослые по образу жизни. Они ведут себя как мужчины, они уже познали и испытали всю житейскую грязь и мерзость... Для того чтобы не отпугнуть их, мне и приходилось иногда поступать против совести.

— Вы пошли у них на поводу.

— Да, мне случалось подчиняться им в мелочах, но лишь затем, чтобы достичь успеха в целом.

— Вы закрывали глаза на преступления этих выроdkов и тем самым одобряли их.

— Да в чем же они виноваты?! — Падре вдруг вспомнились слова Жоана де Адана. — Кто заботится о них? Кто их учит и наставляет? Кто им помогает? У кого найдется для них доброе слово? — Падре был так возбужден, что каноник, не переставая сверлить его глазами, отодвинулся

подальше. — Они воруют, чтобы не умереть с голоду, а состоятельные люди предпочитают швырять деньги, жертвовать на церковь и даже не вспоминают о том, что рядом с ними голодают дети! В чем же их вина?..

— Прошу вас замолчать, — повелительно произнес каноник. — Если бы я не знал вас, то подумал бы, что слышу коммуниста. Да и нетрудно стать коммунистом, потершись среди этого сброда и наслушавшись всяких бредней... Вы и впрямь коммунист, падре, вы — враг церкви.

Жозе Педро глядел на него в ужасе. Каноник поднялся, простер к нему руку.

— Хочу верить, что Господь в неизреченном милосердии своем простит ваши слова и поступки. Вы оскорбили Бога и церковь! Вы запятнали бесчестьем одеяние священнослужителя. Вы попрали законы государства и церкви. Вы действовали как коммунист. И поэтому мы не можем доверить вам приход. Ступайте, — тут голос его, не потеряв властных, не допускающих возражений интонаций, вновь зазвучал мягко, — ступайте, покайтесь в своих грехах, всецело посвятите себя добрым католикам вашей церкви, выбросьте из головы эти коммунистические бредни — иначе мы будем вынуждены принять более суровые меры. Неужели вы думаете, что Господь одобряет ваши поступки? Взгляните на себя трезво: вам ли пытаться проникнуть в сокровенный смысл божественных откровений?..

Он повернулся к Жозе Педро спиной и направился к двери. Падре в растерянности сделал два шага следом, хрипло, как в удушье, проговорил:

— Среди них есть мальчик, который хотел бы стать священником...

— Наш разговор окончен, падре. Вы свободны. Да вразумит вас Господь.

Но падре Жозе неподвижно стоял еще несколько минут, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не произнес, только глядел на дверь, за которой скрылся каноник. Он ни о чем не мог думать и стоял в своей грязной, заплатанной сутане, чуть подавшись вперед, все еще протягивая вслед ушедшему руки, широко открыв испуганные глаза, беззвучно шевеля подрагивающими губами. Тяжелые шторы не пропускали в комнату солнечный свет. Со всех сторон Жозе Педро обступала тьма.

Коммунист... Бродячие музыканты на удивление слаженно и стройно играли какой-то старинный вальс:

«Душа моя тоскует, спаси меня Господь...»

Падре Жозе Педро прислонился к стене. Каноник сказал, что не ему пытаться постичь волю Божью. Каноник сказал, что он глуп, что поет с голоса коммунистов. Слово «коммунист» не давало падре покоя. Священники со всех амвонов проклинали тех, кого называют так. И вот теперь назвали и его... А каноник умен и учен и потому близок Господу: ему легко услышать Божий глас. Да, он, падре Жозе Педро, совершил ошибку, впустую убил два года, два тяжких года... Он хотел помочь сбившимся с пути детям. Неужто они и впрямь сами виноваты во всех своих бедах? Христос... Лучезарный, вечно юный образ... Он слышал, что и Христа считали революционером и он тоже любил детей. Горе тому, кто причинит зло ребенку. А вдова Сантос — защитница святой веры... Значит, и ей слышен голос с небес? Два года впустую... Конечно, ему приходилось идти на уступки, а как же было иначе завоевать доверие этих мальчишек? Они не похожи на других детей, Они знают все на свете, всю грязь и мерзость жизни, всю ее изнанку. И все-таки остаются детьми. Но разве можно было обращаться с ними, как с теми мальчиками, что получают в иезуитском коллеже первое причастие? У тех и мать, и отец, и сестры, и наставники, и исповедники, и еда, и одежда — все есть... Но смеет ли он даже в мыслях спорить с каноником? Каноник умен и учен, ему внятен глас Господа. Он близок Господу. А он, падре Жозе Педро?.. «Вы не были в числе первых учеников»... Он скверно учился, Бог скудно наделил его способностями... Станет ли Господь являть истину невежде? Да, он слушал речи грузчика Жоана... Выходит, он сам — вроде него?.. Он — коммунист? Но коммунисты — дурные люди, коммунисты хотят погубить страну. А грузчик Жоан честен и добр. И все же он коммунист. А Христос? Нет, нет, об этом страшно и думать... Каноник разбирается во всем этом куда лучше недоучки падре в заплатанной сутане. Каноник умен, а Господь — это высшая мудрость... Но Леденчик хочет стать священником... Это — истинное его призвание. Но ведь он погряз в грехах, он ворует, шарит по карманам, тащит все что плохо лежит... Это не его вина... Он, падре, говорит как коммунист... А почему вон тот катит мимо в автомобиле, дымит дорогой сигарой?.. Он говорит как коммунист, сказал каноник. Простит ли ему Господь?

Падре Жозе Педро стоит, прислонившись к стене. Замирают последние звуки музыки, — оркестр уходит. Глаза его широко открыты.

...Да, Господь иногда говорит и с самыми невежественными из чад

своих. С самыми неучеными... Пусть я — невежда. Выслушай меня. Господи! Ведь это дети, несчастные дети! Что могут они знать о добре и зле, если никто никогда не объяснял им, что это такое? Матери никогда не гладили их по голове, отцы никогда не говорили с ними. Господи, они ведь и вправду не ведают, что творят. Вот почему я — с ними, вот почему я поступал так, как хотели они...

Падре воздевает руки к небу.

Неужели если ты попытался хоть немножко скрасить жизнь этим обездоленным — значит стал коммунистом? Спасать их погибающие души, выправлять их искалеченные судьбы — значит быть коммунистом? Раньше из них вырастали только жулики, карманники, в лучшем случае — портовая шпана или сутенеры. Я хочу, чтобы они познали вкус честно заработанного хлеба, чтобы стали порядочными людьми... А из колонии они выходят еще хуже, чем были. Господи, пойми меня: зверством и порками с ними не сладишь. Только терпением, только добром... Ведь и Христос заповедал нам это. Почему же я — коммунист? Господь явит откровение и невежде, тут не в учености дело... Что же — бросить «капитанов» на произвол судьбы? Прихода теперь не видать... Мать заплачет, когда узнает... А сестра не сможет окончить свой институт... Она тоже хочет учить детей, только других, тех, у кого есть и отец с матерью, и книги... А эти мальчишки бродят по улицам, ночуют под открытым небом, или под мостами, или в холодном пакгаузе с прохудившейся крышей... Нет, я не брошу их, не оставлю одних. За кого же Господь — за меня или за каноника? Вдова Сантос... Нет, я прав, я, а не они! Да, я глуп и невежествен и могу не расслышать Божий глас, но Бог обращается иногда и к таким, как я. (Падре Жозе заходит в какую-то церковь.) Я останусь с ними! (Он выходит и снова медленно бредет вдоль стены.) Я не сверну с пути. Ну, а если путь мой ведет не туда, Господь меня простит. «Доброе намерение не оправдывает дурных поступков»... Но ведь Бог всеблаг и милосерден. Я буду продолжать начатое! Быть может, не все из них станут ворами, — как счастлив тогда будет Христос... Вот он улыбается мне! Какой свет исходит от него! Он улыбается мне! Благодарю тебя, Господи!..

Падре становится на колени посреди улицы, не опуская вздетых к небу рук. Люди поглядывают на него с недоуменными улыбками, и он, устыдившись, встает и прыгает на подножку трамвая.

— Вот как напился, бесстыдник, а еще падре, — замечает кто-то.

Столпившиеся на остановке люди смеются.

Грязным ногтем Долдон скovyрнул болячку на руке. Так и есть —



черная! То-то его бросает в жар и ноги как ватные. Это оспа. Бедные кварталы охвачены оспой. Врачи утверждают, что эпидемия идет на убыль, но каждый день кто-нибудь заболевает, каждый день увозят людей в бараки. Обрато не приходит никто. Вот и Алмиро, из-за которого разгорелся весь сыр-бор, попал в больницу, а назад не вернулся. Славный был паренек, хорошенький, как херувим. Поговаривали, будто он и Барандан... Ну и что? Он же никому зла не делал, нрава был кроткого... Какой шум поднял тогда Безногий... А теперь, как узнал, что Алмиро умер, во всем винит себя, ни с кем не разговаривает, все сидит со своим псом, вроде тронулся...

Долдон закурил, прошелся по пакгаузу. Один только Профессор сидел в своем углу. В эти часы редко кого застанешь в «норке». Профессор заметил его еще при входе:

— Кинь сигаретку, Долдон.

Долдон дал ему закурить, потом подошел к своему месту, связал в узелок вещички.

— Ты что, уходишь?

Долдон с узелком под мышкой остановился над ним.

— Отваливаю, Профессор. Смотри не говори никому. Только Пулюю предупреди.

— А куда ты?

Мулат рассмеялся:

— В больницу!

Профессор посмотрел на его руки, на грудь, усеянные нарывами.

— Не ходи, Долдон.

— Почему же это мне не ходить?

— Разве ты не знаешь?.. Кто в барак попал, тому крышка...

— Что ж, лучше здесь остаться и всех вас перезаразить?

— Выходили бы как-нибудь...

— Нет. Все подохнем. Алмиро было куда приткнуться, — это другое дело. А я на свете один как перст.

Профессор молчал, хотя ему многое хотелось сказать Долдону, который стоял над ним, — узелок в руке, а рука-то вся уже в болячках...

— Педро скажи, а остальным не обязательно, — сказал он.

— Все-таки пойдешь? — только и сумел выдавить из себя Профессор.

Долдон кивнул и направился к выходу. Оглядел раскинувшийся перед ним город и взмахнул рукой, словно прощаясь, — он был лихим портовым парнем, а ведь никто не умеет любить Баию сильнее, чем они, — потом обернулся к Профессору:

— Когда будешь меня рисовать... Ты ведь нарисуешь с меня портрет, да?

— Нарисую, Долдон, — прошептал Профессор. Ему так хотелось сейчас произнести какие-нибудь нежные, добрые слова, словно он прощался с родным братом.

— Так вот, пусть оспы не будет видно. Ладно?

Силуэт его растворился во тьме. Профессор не мог вымолвить ни слова, в горле стоял ком. Но он знал, что Долдон, ушедший умирать в одиночку, чтобы никого не заразить, — прекрасен. Люди становятся такими, когда у них в сердце загорается звезда. Когда же они умирают, звезда эта вспыхивает в небесах. Так говорил Богумил. Долдон совсем еще мальчишка, но в груди у него — звезда. Он исчез, пески скрыли его, и только в этот миг окончательно понял Профессор, что никогда больше не увидит своего дружка. Тот ушел умирать.

На кандомбле в честь богини Омолу чернокожие жители Баии, уже отмеченные следами оспы, пели кантиги в ее честь.

Омолу наслала на Баию оспу. Она мстила богатым. Но у богатых была вакцина — откуда было знать про это лесной африканской богине, — богине, которой поклонялись негры. И оспа разгулялась в бедных кварталах, набросилась на народ богини Омолу. И тогда богиня превратила черную оспу — в ветрянную, сделала смертельный недуг безобидной глупой болезнью. Но все равно мерли бедняки, мерли негры. Омолу объяснила: тому виной не болезнь, а больница. Она хотела всего лишь отметить своим знаком чернокожих сынов. Убивала же их больница... И на кандомбле люди молили богиню увести оспу из города — пусть набросится на богатых фазендейро из сертанов. У них деньги, и тысячемильные уголья, а про вакцину они и не слышали. И Омолу сказала, что уйдет в сертаны, и на кандомбле жрецы славили ее и благодарили.

Омолу обещала уйти прочь, а чтобы дети не забыли ее, напомнила им в прощальном песнопении, что когда-нибудь явится снова.

И баиянской таинственной ночью, под грохот барабанов-атабаке, Омолу вскочила на «Восточный экспресс» и отправилась в Жоазейро, — туда, где начинались сертаны. И оспа ушла за нею следом.

Долдон вернулся из больницы исхудалым: одежда болталась на нем, как на вешалке. Лицо его было изрыто рябинами. Когда он вошел в пакгауз, многие поглядели на него с опаской. Но Профессор сразу кинулся к нему.

— Поправился?

Долдон улыбнулся в ответ. Ему жали руку, хлопали по спине. Педро

Пуля обнял его.

— Молодец! Я знал, что ты не пропадешь! Не таковский!

Подошел даже Безногий, а Большой Жоан просто не отходил от Долдона: тот оглядел товарищей, попросил закурить. Руки у него стали тонкими, как плети, кожа туго обтянула скулы, щеки впали. Он молчал, с любовью оглядывая старый пакгауз, толпившихся вокруг ребят, щенка, лежавшего у Безногого на коленях.

— Ну, как там, в больнице? — спросил Большой Жоан.

Долдон стремительно обернулся в его сторону. Grimаса отвращения искривила его лицо. Он медлил с ответом, а потом сказал с трудом, словно язык не слушался:

— И рассказать нельзя... Слишком страшно... Туда попасть — что заживо в гроб лечь.

Он посмотрел на мальчишек, пораженных его словами, и с горечью повторил:

— Заживо в гроб лечь... Это точно... — и замолчал, не зная, что еще сказать.

— Ну? — процедил сквозь зубы Педро Пуля.

— Вот тебе и «ну»! Не могу я, не могу! Не спрашивайте меня, ради Христа, ни о чем! — голова его бессильно поникла, голос стал еле слышен:

— Там как в могиле... Там живых нет.

Он поднял на товарищей глаза, моля ни о чем не спрашивать его. Большой Жоан сказал:

— Хватит, не мучьте его.

Долдон махнул рукой и еле слышно выговорил:

— Не могу... Слишком страшно...

Профессор взглянул на него. Грудь Долдона была вся в крупных оспинах, но в сердце его Профессор увидел звезду. В сердце Долдона сияла звезда.

## Судьба

Они заняли угловой столик. Кот достал колоду, но ни Педро, ни Большой Жоан, ни Профессор, ни Долдон не проявили к игре никакого интереса. Здесь, в «Воротах в море», ждали они Богумила. Таверна была полна народа, а ведь несколько месяцев кряду никто сюда не ходил. Оспа не пускала. Но теперь черная смерть сгнула, и люди вспоминали тех, кого она унесла. Кто-то рассказывал о больнице. «Вот горе-то бедняком родиться», — пробурчал какой-то матрос.

За соседним столом заказали кашасы. На прилавке замелькали стаканы.

— Судьбу не перешибешь, — сказал старик. — Судьба твоя вон где решается, — и показал куда-то вверх.

Но Жоан де Адан возразил ему:

— Настанет день, когда мы сами перекроим свою судьбу...

Педро Пуля поднял голову, Профессор улыбнулся. Но Большой Жоан и Долдом, похоже, готовы были согласиться со стариком, который твердил свое:

— Никому не под силу изменить судьбу. Принимай безропотно, что тебе на небесах приготовили, — вот и все.

— Настанет день, и мы изменим свою судьбу! — сказал вдруг Педро, и все поглядели на него.

— Что ты понимаешь, малыш?.. — вздохнул старик.

— Это сын Белобрысого, это голос отца говорит в нем, — ответил Жоан де Адан. — А за то, чтобы изменить нашу судьбу, отец его отдал жизнь...

Он окинул взглядом всех сидевших в таверне. Старик замолчал, посмотрел на Педро с уважением. В ту минуту в сердца людей возвратилась вера. Где-то на улице послышался перебор гитарных струн.

**В твоих глазах — покой баиянской ночи**

## Сирота

На холме теперь снова звучала музыка. Портовые ребята играли на гитарах, распевали песенки, сочиняли самбы, которые потом охотно покупали композиторы из Верхнего Города. В ресторанчике Деоклесио снова стали по вечерам собираться люди. Миновала напасть, прошло то время, когда на холме не слышалось ничего, кроме рыданий и причитаний, а понурые мужчины, никуда не заворачивая, шли из дома на работу, с работы — домой, когда по крутым улицам несли на отдаленное кладбище черные гробы взрослых, белые гробы непорочных девиц, маленькие разноцветные гробики детей. Хорошо, если встретишь гробы, а не мешки, в которые засовывали еще живых людей: в этих мешках отправляли их в больницу, и семья плакала как по усопшему, зная, что назад никто уже не воротится. Ни звон гитары, ни звучный голос негра не нарушал в те дни скорбной тишины, царившей на холме. Только перекликались нараспев часовые оцепления да плакали навзрыд женщины.

В один из таких дней свезли в больницу и Эстевана, а вскоре жене его, прачке Маргариде, пришло известие о его смерти. В тот же вечер она и сама слегла в жару. Ей, однако, повезло: болезнь обошлась с нею милостиво, так что удалось даже скрыть ее ото всех и не попасть в мешок, а из мешка — в больницу. Она стала выздоравливать. Двое ее детей управлялись по хозяйству. От сына — по-уличному звали его Зе-Глист — проку было мало, шел ему только седьмой год, но зато тринадцатилетняя Дора, у которой под платьем уже обозначилась грудь, была настоящая маленькая женщина, не по годам серьезная: и дом вела, и ухаживала за матерью. Маргарида поднялась с постели как раз в ту пору, когда на холме снова зазвучала музыка, и, хоть не чувствовала себя вполне здоровой, отправилась к своим обычным клиентам. Эпидемия кончилась, ночи на холме вновь наполнились звоном гитар; Маргарида приволокла домой огромный узел белья, потом пошла к ручью. Там принялась стирать и стирала под палящим солнцем целый день до вечера, в сумерки же начался дождь. Назавтра она уже стирать не могла: болезнь снова вернулась к ней, и кончилось все это скверно. Через два дня Маргариду — последнюю жертву эпидемии — понесли на кладбище. Дора шла следом, по щекам ее катились слезы, но думала она о том, что ответить брату, когда он попросит есть. А маленький Зе плакал от горя и от голода. Он был еще слишком мал и не

понимал, что они с Дорой остались теперь в этом бескрайнем городе совсем одни.

Соседи накормили осиротевших детей ужином, а на следующий день, с утра пораньше, араб, которому принадлежали все лачуги на холме, велел протереть для дезинфекции пол и стены их жилища спиртом. Домик был расположен удобно — на самой вершине холма, — и потому туда сразу же въехал новый жилец. Пока соседи обсуждали, как быть с сиротами, Дора взяла брата за руку и пошла вниз, в город. Она ни с кем не простилась: уход ее был как побег. Зе, ни о чем не спрашивая, покорно тащился за сестрой. Дора шла спокойно: она была уверена, что внизу найдется добрый человек, который даст им поесть, а в крайнем случае — присмотрит за малышом. А она поступит в прислуги в какой-нибудь приличный дом. Ничего, что ей так мало лет: многие даже предпочитают брать девчонок — платить можно меньше. Мать говорила как-то, что в одной семье, на которую она стирала, ищут прислугу. Дора запомнила даже адрес. Туда она и направлялась. Холм, гитары, самба, которую распевал какой-то негр, остались позади, горячий асфальт обжигал босые ноги. Зе весело смотрел по сторонам, разглядывая незнакомый город, мчавшиеся мимо переполненные трамваи, гудящие машины, толпы народа. Мать однажды взяла Дору в этот дом — он помещался где-то на Барру, она помнит, что ехали они, везя пакеты свежестыранного белья, на трамвае. Хозяйка была приветлива, спрашивала, не хочет ли она служить у нее. «Дайте подрасти немножко», — ответила мать. Расспрашивая прохожих, она выбралась наконец на Барру. Идти надо было долго, асфальт обжигал босые ноги; Зе захныкал — он устал и проголодался. Дора пообещала, что они скоро придут, но на Кампо-Гранде малыш заявил, что дальше не пойдет. Такие переходы шестилетнему и вправду были не под силу. Тогда Дора вошла в булочную, разменяв последние пятьсот реисов, купила два рогалика и усадила Зе на скамейку.

— Ты ешь и жди меня, а я скоро. Только смотри никуда не уходи, а то потеряешься.

Зе, самозабвенно жуя черствый рогалик, кивнул. Дора поцеловала его на прощание и ушла.

Полицейский, который объяснил ей, как идти дальше, так и шарил глазами по наливающейся груди. Растрепанные белокурые волосы развевались под ветром. Горели обожженные ступни, все тело ныло от усталости. Но делать нечего — надо было пройти весь квартал, чтобы попасть в дом № 611. Добравшись до № 53, она остановилась передохнуть и сообразить, что же она скажет хозяйке. Потом зашагала снова. Теперь ее

мучила не только усталость, но и голод — нестерпимый, требующий немедленного утоления. Доре хотелось зареветь, упасть прямо на мостовую, под палящие лучи, и не шевелиться. Усталость да еще вдруг нахлынувшая тоска по родителям измучили ее. Но она все же собралась с силами и двинулась дальше.

611-й оказался настоящим дворцом. На качелях, подвешенных на манговой пальме, сидела девочка ее возраста, а паренек лет семнадцати раскачивал веревку. Оба смеялись. Это были хозяйские дети. Дора посмотрела на них с завистью, потом нажала кнопку звонка. Мальчик, не оставляя своего занятия, оглянулся на нее. Дора позвонила еще раз, и появилась служанка. Дора сказала, что хотела бы видеть дону Лауру. Служанка с недоверием оглядела ее, но в эту минуту мальчик отпустил качели и подошел к ним. Он скользнул внимательным взглядом по груди Доры, по выглядывающим из под платья коленкам и спросил:

— Тебе что?

— Мне бы дону Лауру повидать. Я — дочь Маргариды, она приходила к вам стирать... Дона Лаура не знает, что она умерла...

Паренек не сводил глаз с ее груди. Дора была красива: большеглазая, златовласая. Бабка у нее была мулаткой, а дед — итальянец. Маргарида говорила, что она вся в него, такая же белокурая... Под внимательным, неотрывным взглядом хозяйского сына Дора смутилась, опустила глаза. Тот тоже немного смешался и приказал горничной:

— Позовите маму.

— Сейчас.

Он закурил, выпустил дым, сложив губы трубочкой, снова покосился на ее грудь.

— Работу ищешь?

— Ищу, сеньор.

Ветер чуть приподнял подол ее платья, мелькнула полоска бедра, и в голове парня сразу зароились соблазнительные мысли: он представил себе, как по утрам Дора будет приносить ему кофе в постель и все, что за этим последует.

— Я попрошу маму подыскать тебе место у нас...

Дора поблагодарила, хотя ей было и неловко и страшновато от его нескромных взглядов. Тут подошла седовласая дона Лаура, а за нею — веснушчатая, но миловидная дочка, оглядевшая Дору с ног до головы.

— Мама умерла у меня... Помните, сударыня, вы хотели меня взять?

— А от чего же умерла бедная Маргарида?

— От оспы, — сказала Дора, не понимая, что этими словами



закрывает себе вход в этот дом.

— От оспы?

Дочка в испуге отшатнулась от двери. Паренек невольно сделал шаг назад и, подумав об оспинах на груди Доры, сплюнул от омерзения.

— Место, которое я тебе предлагала, уже занято, — скорбным голоском произнесла донна Лаура.

Дора вспомнила про брата.

— Может быть, вам, сеньора, нужен мальчик — бегать за покупками, выполнять всякие поручения? У меня есть брат...

— Нет, милая, не нужен.

— Может быть, кому-нибудь из ваших знакомых?..

— Нет. Если узнаю, рекомендую тебя... — Она явно хотела отделаться от нее. Повернулась к сыну: — Эмануэл, у тебя есть при себе деньги?

— Есть. Зачем тебе?

— Дай мне два мильрейса, — и, получив монету, положила ее на столбик ограды: ей было страшно даже прикоснуться к Доре, она хотела, чтобы та ушла как можно скорее, не занесла в дом заразы. — Вот, возьми, Помоги тебе Бог.

Дора пошла прочь. Хозяйский сын засмотрелся на ее округлые бедра, покачивавшиеся под тесноватым платьицем, но голос донны Лауры отрезвил его:

— Дос Рейс, протрите-ка спиртом дверь и звонок. С черной оспой шутики плохи...

Он отправился качать сестру на качелях, время от времени со вздохом вспоминая, какая замечательная грудь была у этой нищей девчонки.

Зе на скамейке не оказалось. Дора в ужасе представила себе, что он пошел по улице, заблудился, пропал. Где его искать? Ведь города она совсем не знает... Ноги у нее подкашивались от усталости, от безысходности, от тоски по матери. Кроме того, очень хотелось есть. Она подумала, не купить ли хлеба (ведь теперь у нее было две тысячи четырехста рейсов), но вместо этого кинулась искать брата. Вскоре она увидела его: Зе ползал под деревьями в сквере и ел зеленые сливы. Дора хлопнула его по рукам:

— Ты разве не знаешь, что от этого живот болит?!

— Я кушать хочу...

Дора купила хлеба, они заморили червячка... Весь этот день бродили они от дома к дому, и всюду им отказывали: страх перед оспой превозмогал любую доброту. К вечеру Зе просто падал с ног от усталости. Отчаявшись, Дора решила возвращаться домой, но так не хотелось быть в тягость

беднякам соседям, не хотелось идти туда, откуда вынесли гроб с телом ее матери и мешок, в котором шевелился еще живой отец. Она опять оставила Зе на скамейке в садике, а сама побежала купить хлеба, пока не закрылись булочные. Денег больше не было... Когда зажглись фонари, она сначала восхитилась этим зрелищем, но тут же испытала к городу враждебное чувство: он ничем не помог ей, только обжег ее ступни и измотал до полусмерти. Все эти красивые дома отвергли ее. Сгорбившись, вытирая слезы, она подошла к тому месту, где оставила брата. Он опять исчез. Дора обегала весь сад, пока не нашла его: Зе смотрел, как двое мальчишек — высокий крепкий негр и тщедушный белый — играют в «гуд». Она опустилась на скамейку, подозвала Зе. Заметив ее, мальчишки тоже поднялись на ноги. Дора развернула пакет с рогаликами, протянула один брату. Мальчишки смотрели на нее — негр явно был голоден. Она угостила их, и все четверо молча набросились на черствый хлеб (он стоил дешевле). Потом негр удовлетворенно хлопнул ладонью о ладонь и спросил:

— Малец сказал, у тебя мать от оспы померла?

— И мать, и отец...

— Вот и у нас беда...

— Отец?

— Нет, не отец. Один наш паренек, Алмиро звали.

— Устроилась куда-нибудь? — открыл рот молчавший до этого белый.

— Нет. Как скажу про оспу, сразу гонят...

Вот теперь Дора дала волю слезам. Зе играл шариками, которые мальчишки оставили на земле. Негр почесал в затылке. Щуплый поглядел сначала на него, потом на Дору.

— Ночевать есть где?

— Негде мне ночевать.

Тогда он сказал своему товарищу:

— Давай ее в «норку» сведем...

— Девчонку?.. А что нам Пуля на это скажет?

— Видишь, плачет... — еле слышно проговорил тщедушный паренек.

Негр взглянул на нее оторопело. Белый согнал с шеи муху, осторожно, точно боясь обжечься, положил руку на плечо Доры:

— Пойдем с нами. Переночуешь в пакгаузе...

Негр вымученно улыбнулся:

— Хоромы, конечно, не Бог весть какие, а всё лучше, чем на улице...

Большой Жоан и Профессор шли впереди. Им хотелось поговорить, но они не знали о чем: в такой переплет оба не попадали еще ни разу и страшно смутились. В свете фонарей волосы Доры блестели как золото.

— До чего ж хороша, — сказал негр.

— Красивая... — подтвердил Профессор.

Ни тот, ни другой не шарили глазами по ее телу, — они смотрели только, как переливаются в свете уличных огней ее волосы.

Когда добрались до пляжей, Зе совсем ослабел. Большой Жоан взял ребенка (хоть и сам был не очень-то взрослый) на руки, посадил себе на спину, понес. Профессор шел рядом с Дорой, но оба хранили молчание.

В пакгауз они вошли с некоторой опаской. Жоан ссадил малыша на землю, пропустил вперед Дору с Профессором, поспешил провести гостей в свой угол и зажечь там свечу. «Капитаны» глядели на них с удивлением. Залаяла собака Безногого.

— Новенькие! — сказал Кот, уже собиравшийся уходить.

Он подошел поближе.

— Кого это ты привел, Профессор?

— У них и отец и мать умерли от оспы. Оказались на улице, ночевать негде.

Кот посмотрел на Дору, изобразил на лице самую лучезарную из своих улыбок, склонился в поклоне, точно герой какого-то фильма, произнес слышанную где-то фразу...

— Милости просим, мадам, в наш...

Он забыл, как там дальше, слегка смутился и отправился к Далве. Зато все остальные двинулись к ним. Впереди — Безногий и Долдон. Дора глядела испуганно. Зе уснул, сморенный усталостью. Большой Жоан заслонил Дору. Дрожащее пламя свечи бросало отблеск на белокурые волосы, высвечивало контуры груди. Сквозь проломы в крыше заглянула в пакгауз луна.

Долдон остановился прямо перед ними, потом, хромя, подошел Безногий, а за ним, толпой, — все остальные.

— Что это за красотка на нас свалилась? — спросил Долдон.

Профессор шагнул вперед.

— Они с братом остались сиротами... Голодные оба...

Долдон протяжно засмеялся, расправил плечи:

— Девочка на загляденье...

Безногий тоже раскатился своим глумливым смешком, показал на толпящихся у него за спиной мальчишек:

— Видишь, слетелись, как стервятники на падаль.

Дора прижала к себе брата — тот уже проснулся и дрожал от страха.

— Профессор, может, ты думаешь, пожива только вам с Жоаном будет? Не надейся. Мы тоже люди... — раздался из толпы чей-то голос.

— Нам тоже хочется! — поддержал его другой, и многие захохотали.

— Знаешь, Жоан, как у нас зудит?! — выскочил вперед третий.

Большой Жоан по-прежнему загоразивал собой Дору. Он не произнес ни слова, но вытащил из-за пояса нож.

— Ты это брось! — крикнул Безногий. — У нас все — поровну!

— Вы что, не видите — она ж еще девчонка... — пробормотал Профессор.

— Ничего себе — девчонка, — крикнул кто-то. — Вон какая грудь!

Вперед протиснулся Вертун. Глаза у него так и сверкали, угрюмая ухмылка кривила губы.

— Лампиан тоже не разбирает, кому сколько лет! Отдай ее нам, Жоан!..

Все знали, что слабосильный Профессор драться не умеет и не любит: его можно в расчет не принимать. Они были возбуждены до крайности, но порыв их сдерживался решительной позой Большого Жоана. А Вертуну казалось, что он — среди бандитов Лампиана, что они захватили поместье и сейчас все скопом обесчестят дочку фазендейро. Волосы Доры золотились в пламени свечи. На лице ее застыл ужас.

Большой Жоан продолжал хранить молчание. Профессор раскрыл свою наваху, стал рядом с ним. Тогда выхватил нож и Вертун, шагнул вперед. Остальные тесной кучкой двигались за ним. Рывнула собака.

— Отвали, Жоан, добром прошу... — еще раз сказал Вертун.

«Был бы здесь Кот, — подумалось Профессору, — он бы помог: у него-то есть женщина...»

Дора видела, как надвигается на нее стена парней, и страх заставил ее позабыть и усталость, и все неудачи этого долгого дня. Зе плакал. Дора не сводила глаз с Вертуна: угрюмое лицо мулата выражало неприкрытое вожделение, передергивалось нервной усмешкой. Когда свеча осветила лицо Долдона, Дора увидела, что лоб у него — в рябинах, и, снова вспомнив покойную мать, зарыдала в голос. «Капитаны» на минуту замерли.

— Видите — плачет... — сказал Профессор.

— Ну и что? Отсыреет, что ли? — ответил Вертун.

Мальчишки, поглядывая то на Дору, то на клинок в руке Большого Жоана, опять двинулись вперед, — сначала медленно, а потом подскочили почти вплотную. Тогда впервые за все это время прозвучал голос негра:

— Вот только сунься...

Долдон засмеялся. Вертун перехватил свой нож поудобней. Зе плакал, Дора расширенными от ужаса глазами смотрела на них. Жоан сбил Долдона с ног. Кровопролитие было уже неминуемо, как вдруг в пакгаузе

появился Педро Пуля:

— Что вы тут устроили?!

Вертун выпустил Профессора, которого уже успел ткнуть ножом в руку, и тот поднялся на ноги. Долдон остался лежать — лицо его было располосовано лезвием клинка. Большой Жоан по-прежнему загоразивал Дору от всех.

— Что происходит, я спрашиваю! — повторил Педро.

— Да вот эти двое притащили сюда девчонку, а делиться с товарищами не желают... Это не по справедливости, — ответил, не вставая, Долдон.

— Ясное дело! — завизжал Безногий. — Я, например, сегодня же получу что причитается.

Педро посмотрел на Дору, на ее грудь, на белокурые волосы.

— Они правы, — сказал он. — Уйди с дороги, Большой.

Негр с изумлением уставился на него. «Капитаны», во главе которых был теперь их вожак, снова придвинулись совсем близко.

— Пуля! — крикнул негр, выставив перед собой нож. — Клянусь, пропору первого, кто подойдет!

— Отойди, Большой! — сделал еще шаг Педро.

— Это ж девчонка! Что ты, ослеп?!

Педро остановился, и те, кто шел следом, замерли. Точно другими глазами увидел он Дору — ее помертвелое от страха лицо, слезы, катившиеся по щекам. Он вдруг услышал, как всхлипывает малыш.

— Я всегда держал твою сторону, Пуля, — опять заговорил Жоан. — Я — твой друг. Но она еще совсем девчонка. Мы с Профессором привели ее сюда... Я твой друг, но если ты ее тронешь, я тебя убью. Никто ее не обидит.

— Подумаешь, напугал! — крикнул Вертун. — Покончим с тобой — примемся за нее!

— Заткни глотку! — рявкнул на него Педро.

— У нее отец с матерью от оспы померли, — продолжал Жоан. — Ей ночевать негде, вот мы и привели ее сюда. Она ж не уличная, разве ты не видишь? Это — девочка, Педро. Я прикоснуться к ней не дам.

— Девочка... — еле слышно повторил тот и, шагнув к Жоану и Профессору, резко повернулся к остальным — Ну, кто смелый?..

— Так не поступают. Пуля! — прижимая ладонь к окровавленному лицу, крикнул Долдон. — Хочешь спать с ней в очередь с Большим и Профессором?!

— Даю слово, что не дотронусь до нее, и они тоже! Она — еще девчонка, и потому оставьте ее в покое! Не нарывайтесь, честно

предупреждаю!

Те, кто был помладше годами и потрусливей, попятились. Долдон встал наконец на ноги, побрел в свой угол, размазывая по лицу кровь. Вертун раздельно произнес:

— Не воображай, Пуля, что я струсил. Просто ты прав: жалко ее.

Педро повернулся к Доре:

— Не бойся. Никто тебя не обидит.

Та поспешно оторвала от подола юбки полоску ткани, подскочила к Профессору, перетянула ему руку. Потом присела возле Долдона (он весь сжался в эту минуту), промыла ему рану, завязала. И ужас ее и усталость исчезли бесследно. Она верила тому, что сказал Педро.

— Ты тоже ранен? — спросила она у Вертуна.

— Нет, — недоуменно ответил мулат и поскорей убрался к себе. Было похоже, что Дора внушает ему страх.

Безногий наблюдал за всем этим. Собака спрыгнула с его колен, подошла к Доре, лизнула ее босую ступню. Девочка потрепала щенка, спросила Безногого:

— Твой?

— Ага. Но можешь взять его, если хочешь.

Дора улыбнулась. Педро вышел на середину пакгауза, сказал так, чтобы все слышали:

— Завтра она уйдет. Нам тут девчонка ни к чему.

— А вот и не уйду! Я останусь, я вам пригожусь! Я умею готовить, стирать, шить...

— Пусть остается, — сказал Вертун.

Дора посмотрела в глаза Педро:

— Ты же сказал, меня никто не обидит?

Педро взглянул на ее золотистые волосы. В пролом крыши лился лунный свет.

## Дора, мать

Кот враскачку, особой своей походочкой, шел по пакгаузу. До этого он долго и безуспешно пытался вдеть нитку в иголку. Дора уложила брата спать и теперь ждала, когда же Профессор начнет читать свою книжку в голубом переплете, — он обещал, что будет интересно. Тут вот и подошел к ней Кот:

— Дора...

— Чего тебе, Кот?

— Помоги, а?..

Он показал ей иголку с ниткой: никак ему было не совладать с ними. Профессор поднял глаза от книги, и Кот тут же обратился к нему:

— Смотри, Профессор, будешь столько читать — глаза испортишь. Темнотища там... — и нерешительно взглянул на девочку. — Да вот нитку эту чертову не могу просунуть, ушко маленькое такое... Не получается, хоть плачь.

— Дай сюда.

Она вдела нитку в иголку, завязала узелок.

— Вот что значит женские руки, — сказал Кот Профессору.

Но Дора не отдала ему иголку, а спросила, что надо зашить. Кот показал ей распоротый по шву карман пиджака. Это был тот самый кашемировый костюм, который носил Безногий в ту пору, когда жил в богатом доме на улице Граса.

— Видишь, какой красивый, — похвастался Кот.

— Красивый... — согласилась Дора. — Снимай...

Кот и Профессор не отрываясь следили за тем, как она шьет. Вроде бы в этом не было ничего особенного, но ни тому, ни другому никто за всю жизнь ничего не зашивал, не чинил, не штопал. Из всех обитателей пакгауза только Кот и Леденчик изредка приводили свою одежду в порядок: Кот — потому, что из кожи вон лез, чтобы выглядеть элегантно, и к тому же у него была любовница, а Леденчик — от природной опрятности. Остальные же донашивали свои лохмотья до такой степени, что они превращались в самое настоящее тряпье, после чего добывали себе штаны и пиджаки — крали или выпрашивали Христа ради.

— Еще надо что-нибудь починить? — спросила Дора, перекусив нитку. Кот поправил напوماженные волосы.

— Рубашка на спине поползла.

Он повернулся: рубаха была распорота сверху донизу. Дора велела ему сесть и принялась зашивать прямо на нем. Когда ее пальцы прикоснулись к нему, по спине Кота пробежала приятная дрожь, совсем как в те минуты, когда Далва водила длинными холеными ногтями у него вдоль хребта, приговаривая: «Кошечка царапает своего котика».

Но Далва никогда не штопала и не зашивала ему одежду: может быть, она и сама не умела вдевать нитку в иголку. Она любила спать с ним, что правда, то правда, а когда царапала его спину, то делала это не просто так, а чтобы раззадорить и разгорячить еще больше — чтобы лучше любил. А пальцы Доры с грязными, обкусанными ногтями прикасались к нему сейчас точь-в-точь, как пальцы матери, которая чинит сыну рубашку. Мать у Кота умерла, когда он был еще совсем маленьким. Она была хрупкая, красивая. И руки у нее были неухоженные, загорбелые, потому что жене рабочего маникюр не по карману. И прикасалась она к его спине в точности, как Дора... Вот она снова дотронулась до него, но на этот раз ощущение было иным, оно пробудило в Коте не воспоминание о ласках Далвы, а то чувство защищенности и уверенности в том, что его любят, которое давали ему когда-то руки матери. Дора сидела у него за спиной, он не мог ее видеть. Он представил, что это мать вернулась, воскресла. Кот снова становится маленьким, и снова на нем рубаха из дешевой саржи, и, разодрав ее в играх на холме, он бежит к матери, а та сажает его перед собой, и в ее ловких пальцах иголка словно порхает туда-сюда, и прикосновения ее рук даруют ему счастье. Полное счастье. Мать вернулась из небытия, мать зашивает ему рубашку. Ему захотелось положить голову на колени Доре, и чтобы та спела ему колыбельную. Да, он ворует, и каждую ночь проводит у проститутки Далвы, и берет у нее деньги, но по годам-то он совсем ребенок... И в эти минуты Кот забывает Далву, ее долгие поцелуи, ее ласки, ее жадное тело, забывает о том, как ловко выкрадывает он чужие бумажники, забывает о своей крапленой колоде, о шулерской сноровке, — он все забывает. Ему только четырнадцать лет, мать зашивает ему порванную рубашку. Как славно было бы услышать сейчас колыбельную песенку или страшную сказку с хорошим концом... Дора перекусывает нитку, и пряди ее белокурых волос ложатся на плечо Кота. Но он не испытывает никакого волнения — одно только счастье: подольше бы чувствовать себя сыном этой девчонки. Счастье, захлестывающее его душу, кажется почти нелепым: словно и не было всех этих лет, прошедших со дня смерти матери, словно он так и остался маленьким и ничем не отличается от всех остальных детей. В эту ночь кончилось его сиротство. И потому



ласковые прикосновения Доры не будят его чувственность, а только усиливают его счастье. И когда она сказала: «Ну вот и готово», голос ее звучал так же нежно и сладостно, как голос матери, когда она убаюкивала его...

Он поднимается, благодарно смотрит в глаза Доры:

— Спасибо. Ты нам теперь — как мать... — и смущенно умолкает, думая, что Дора не поймет его: ее серьезное лицо девочки-женщины расплывается в улыбку. Но понимает Профессор, и вся эта картина отпечатывается у него в памяти с необыкновенной четкостью: Кот стоит перед Дорой и смотрит на нее с любовью, но без тени вожделения, а она отвечает ему материнской улыбкой.

Кот набрасывает на плечи пиджак и уходит вразвалочку. Что-то небывалое случилось в их «норке»: они нашли мать, они обрели материнскую нежность, есть теперь кому позаботиться о них... Когда он пришел к Далве, она почувствовала, что с ним творится что-то не то, удивлялась и выпытывала, в чем дело, но Кот хранил тайну свято. Далва не поймет, каково это — встретить на земле давно умершую мать.

...Профессор начал читать, и Большой Жоан уселся рядом с ним. Ночь выдалась дождливая, и в книжке, которую читал своим товарищам Профессор, рассказывалось о том, как в такую же ненастную ночь попал в беду большой корабль. Капитан был жесток, он избивал своих матросов хлыстом. Парусник мог в любую минуту перевернуться, хлысты офицеров без пощады обрушивались на обнаженные спины матросов... У Большого Жоана на лице появилось страдальческое выражение. Вертун, державший в руках газету с очередной заметкой про Лампиана, не решился прервать Профессора и тоже заслушался... Матросу по имени Джон крепко досталось от капитана, потому что он поскользнулся на палубе и упал.

— Был бы там Лампиан, уж он бы этого капитана... — дал волю переполнявшим его чувствам Вертун.

Но отомстил капитану смельчак Джеймс. Он взбунтовал экипаж. За стенами пакгауза лил дождь. Дождь хлестал и на палубу мятежного корабля. На сторону матросов встал один из офицеров.

— Вот молодец! — воскликнул Большой Жоан.

Они понимали толк в геройстве. Вертун наблюдал за Дорой. Глаза ее блестели — она тоже пленилась отвагой мятежников, и это понравилось мулату. Джеймс смело ринулся в схватку и увлек за собой матросов. Вертун от радости засвистал, подражая какой-то сертанской пичуге; засмеялась и довольная Дора. Так смеялись они вдвоем, а потом смех их подхватили и Профессор с Жоаном. Подошли и другие, чтобы дослушать конец истории.

Они посматривали на серьезное лицо Доры, девочки-женщины, а она отвечала им взглядом, исполненным материнской любви. Когда же Джеймс выбросил капитана в спасательную шлюпку и крикнул: «У змеи вырвано ядовитое жало!», все захохотали вместе с Дорой, поглядывая на нее с любовью — так глядят дети на мать. Профессор дочитал до конца, и «капитаны» разбрелись по своим углам, делясь впечатлениями:

— История — сдохнуть можно...

— Во мужик этот Джеймс...

— Сила!

— А капитан-то, капитан...

Вертун подsunул Профессору свою газету, смущенно улыбнулся в ответ на вопросительный взгляд Доры:

— Тут про Лампиана пишут. — Мрачное лицо его словно осветилось этой улыбкой. — Он ведь мой крестный, знаешь?

— Крестный?

— Ага. Мать моя так захотела, потому что Лампиан — знаменитый удалец, с ним не совладаешь... А мать у меня была женщина отчаянная, стреляла не хуже мужчины. В одиночку справилась с двумя солдатами. Она иного парня за пояс бы заткнула...

Дора слушала, как зачарованная, не сводя серьезных глаз с угрюмого лица мулата. Вертун помолчал, точно подыскивая нужные слова, а потом добавил:

— А ты тоже — не робкого десятка... Мать у меня была громадная, вот такая. Мулатка. Волосы были не золотые, как у тебя, а черные, такие курчавые, что и не расчешешь. И в годах уже — тебе-то в бабки годилась... И все равно ты на нее похожа! — Он еще раз оглядел Дору и смущенно потупился: — Хочешь верь, хочешь нет, ты мне ее напоминаешь! Ей-Богу, ты на нее похожа!

Профессор поднял на него подслеповатые глаза. Вертун почти кричал, и его неизменно мрачное лицо совершенно преобразилось от счастья. «Вот и этот нашел свою мать», — подумал Профессор. Дора глядела на сертанца серьезно и ласково. Вертун захохотал, Дора подхватила, но на этот раз Профессор не присоединился к ним. Он начал торопливо читать статью про Лампиана.

Оказывается, знаменитого разбойника, двигавшегося к деревне, заметил водитель грузовика. Он успел предупредить жителей, те послали за подмогой к соседям, подоспел и отряд конной полиции, и когда Лампиан появился в деревне, его встретили беглым огнем. Лампиан, огрызаясь, ушел в каатингу, где, как известно, он у себя дома. Один из его людей был

убит, ему отрубили голову и как трофеей отправили ее в Баию. Газета поместила фотографию: какой-то человек держал за короткие курчавые волосы отрубленную голову с выколотыми глазами и раскрытым ртом.

— Бедный... — прошептала Дора. — Как изуродовали...

Вертун посмотрел на нее с благодарной нежностью. Потом глаза его вмиг налились кровью, лицо стало еще угрюмей, чем всегда, — угрюмо страдальческим.

— Сука шофер... — тихо проговорил он. — погоди, попадешься ты мне, сука...

Еще в статейке говорилось, что банда Лампиана, судя по тому, как поспешно она отступила, потеряла еще нескольких человек.

— Пора и мне отправляться... — еле слышно, точно про себя, сказал Вертун.

— Куда? — спросила Дора.

— К моему крестному. Теперь я ему пригжусь.

Она печально взглянула на него.

— Ты все-таки пойдешь?

— Пойду.

— А если полиция схватит тебя, будет мучить, отрубит голову?..

— Клянусь, что живым не дамся. А на тот свет прихвачу кого-нибудь из них... Не тревожься за меня.

Он поклялся матери, могучей и отважной мулатке из сертанов, которая не побоялась схватиться с солдатами, которая приходилась кумой грозному разбойнику Лампиану и была его возлюбленной, что она может быть спокойна: живым его не возьмут, он дорого продаст свою жизнь. Дора почувствовала гордость.

А Профессор зажмурился и тоже увидел вместо Доры коренастую мулатку, защищавшую с помощью бандитов свой клочок земли от алчных полковников-фазендейро. Он увидел мать Вертуна. И Вертун увидел ее. Белокурые пряди исчезли, сменившись жесткими курчавыми завитками, нежные глаза стали раскосыми глазами обитательницы сертанов, серьезное девичье лицо превратилось в угрюмое лицо замученной крестьянки. И только улыбка осталась прежней: это была улыбка матери, гордящейся своим сыном.

Леденчик на первых порах воспринял появление Доры с недоверием. Дора воплощала для него грех. Давно уже он сторонился приветливых негрятенок, давно уже не сжимал в объятьях горячее чернокожее тело. Он избавлялся от своих грехов, чтобы предстать в глазах Господа чистым и незапятнанным, чтобы его осенила благодать, чтобы он имел право

облечься в одежды священнослужителя. Он даже подумывал о том, как бы ему устроиться газетчиком и положить конец ежедневному греховному промыслу.

Он поглядывал на Дору с опаской: женщина есть сосуд дьявольский, — но видел перед собой девочку, такую же бездомную и всеми брошенную, как и все они. Не в пример тем негритянкам она не смеялась бесстыдным завлекательным смехом сквозь стиснутые зубы. Лицо ее всегда было серьезно: лицо взрослой женщины, доброй и порядочной. Но маленькие груди натягивали платье, а из-под оборки выглядывали округлые белые колени. Леденчик боялся. Нет, не того, что Дора станет искушать его — она явно была не из тех, кто соблазняет, да и лет ей еще было мало. Он боялся самого себя, боялся пожелать ее и угодить в уже расставленные сети сатаны. И потому стоило только Доре приблизиться к нему, как он начинал бормотать молитву.

А Дора долго разглядывала образки на стене, и Профессор, стоя у нее за спиной, тоже смотрел на них. Изображение Христа-младенца, то самое, которое Леденчик украл, было украшено цветами. Дора подошла поближе.

— Как красиво...

От этих ее слов страх начал мало-помалу исчезать из души Леденчика. Она одна заинтересовалась его святыми, — ни один человек в пакгаузе не обращал на них никакого внимания.

— Это все твое? — спросила Дора.

Он кивнул и улыбнулся. Шагнул вперед и стал показывать ей все свои сокровища — литографии, катехизис, четки. Доре все понравилось, она тоже улыбнулась. А Профессор все смотрел на нее подслеповатыми глазами. Леденчик рассказал ей историю о том, как святой Антоний пребывал в двух местах одновременно, чтобы спасти от петли своего несправедливо осужденного отца. Он рассказывал эту историю так же увлеченно, как Профессор читал книги о бесстрашных и мятежных моряках, и Дора слушала его так же внимательно и доверчиво. Они разговаривали, а Профессор молчал. Леденчик стал говорить о вере, о святых, творивших чудеса, о доброте падре Жозе Педро.

— Он и тебе понравится.

— Конечно, понравится, — отвечала она.

Он уже позабыл об искушении и соблазне, заключенном в девичьей груди, округлых бедрах, золотистых волосах, — он говорил с нею так, словно перед ним стояла совсем взрослая, даже немолодая, добросердечная женщина. Он говорил с нею как с матерью. Он понял это в ту минуту, когда почувствовал, что хочет рассказать ей самое главное — о том, что мечтает

стать священником, что услышал глас Божий и не может противиться ему. Только матери решился бы он рассказать такое. И мать стояла перед ним в этот миг.

— Знаешь, я хочу стать падре, — сказал он.

— Это замечательно, — ответила Дора.

Леденчик просиял. Он поглядел ей в глаза и взволнованно спросил:

— А как ты думаешь, я достоин? Господь милосерден, но он умеет и наказывать...

— За что ж тебя наказывать? — В голосе ее звучало неподдельное изумление.

— Жизнь, которую мы ведем, полна греха. Мы грешим ежедневно.

— Так ведь вы в этом не виноваты, — объяснила ему Дора. — У вас же нет никого на свете.

Нет, к нему это теперь не относилось: теперь у него есть мать. Он ликующе засмеялся:

— Вот и падре Жозе Педро так мне говорил. И еще он сказал...

Счастливый смех не давал ему договорить, и Дора тоже заулыбалась, зараженная его весельем.

— ...сказал, что, может быть, я когда-нибудь приму сан.

— Конечно, примешь.

— Хочешь, подарю его тебе? — неожиданно для самого себя спросил Леденчик, показывая на Христа-младенца.

Он был похож в эту минуту на мальчишку, который, получив от матери монетку на леденцы, делится с нею лакомством. И Дора кивнула в знак согласия, как мать, которая возьмет конфетку из рук сына, чтобы доставить ему радость.

Профессор никогда не видел мать Леденчика, не знал, кто она и что. Но сейчас на месте Доры стояла она — в этом не было сомнения, — и он позавидовал счастьем своего товарища.

Они нашли Педро на пляже. Эту ночь он провел не в пакгаузе, а здесь, на нагретом и ласковом песке, глядя на луну. Дождь перестал, а ветерок был теплый. Профессор растянулся рядом. Дора села посередине. Педро поглядел на нее искоса, ниже надвинул на лоб берет.

— Вчера ты очень помог нам с братом... — сказала она.

— Тебе надо уйти, — ответил Педро.

Дора не произнесла ни слова, но заметно опечалилась. Тогда заговорил Профессор:

— Нет, Педро. Не надо ей уходить. Она нам, как мать. Честное слово,

всем — как мать. И повторил еще и еще раз: — Как мать... Как мать...

Пуля окинул их взглядом, снял берет, сел на песке. Дора смотрела на него ласково. Им она, как мать. А ему она и мать, и сестра, и жена. Он сконфуженно улыбнулся ей:

— Я просто подумал, цапаться из-за тебя начнем... — Она замотала головой, но он продолжал: — А потом улечат минуту, когда нас с Профессором не будет...

Все трое засмеялись, а Профессор снова сказал:

— Теперь уже можно не бояться. Она нам, как мать.

— Ладно, оставайся, — решил Педро, и Дора улыбнулась ему: он успел стать ее героем, хоть она никогда еще не думала ни о чем подобном, — время не пришло. Она любила его, как сына, лишенного ласки и заботы, как старшего брата, который всегда придет на помощь, как возлюбленного, равного которому нет в целом свете.

Но Профессор заметил, как они улыбаются друг другу, и, помрачнев, повторил еще раз:

— Она нам, как мать!

А помрачнел он потому, что и для него она была не матерью. И ему стала она возлюбленной.

## Дора, сестра и невеста

В платье особенно не побегаешь и через забор не перепрыгнешь, а Дора ничем не хотела отличаться от «капитанов». Она выпросила у Барандана штаны, которые ему подарили в каком-то богатом доме. Негритенку они были велики, и потому он согласился, а она укоротила штанины, подпоясалась веревкой, следуя негласной моде «капитанов», а платье заправила в них, как рубашку. Если б не длинные золотистые волосы и не груди, ее вполне можно было бы принять за мальчишку.

В тот день, когда она в своем новом обличе предстала перед Педро, тот захохотал так, что не устоял на ногах и покатился по полу. Наконец он с трудом вымолвил:

— Ох, уморила...

Дора опечалилась, и он перестал смеяться.

— Я не желаю у вас на шее сидеть. Отныне всюду буду с вами.

Удивление Педро было безмерно:

— Это что же...

Дора спокойно глядела на него, ожидая, когда он договорит.

— ...ты с нами отправишься дела делать?

— Вот именно, — отвечала она решительно.

— Да ты с ума сошла!

— Вовсе нет.

— Неужели сама не понимаешь, что это занятие не для девчонки? Мы, мужчины...

— Тоже мне мужчины! Мальчишки вы, а не мужчины!

— Но мы по крайней мере в брюках ходим... — только и нашелся он что возразить.

— И я тоже! — радостно воскликнула она.

Педро в замешательстве поглядел на нее, смешно ему уже не было. Потом после некоторого раздумья сказал:

— Если полиция нас возьмет, мы выкрутимся. А ты?

— И я выкручусь!

— Тебя отправят в приют. Ты даже и не знаешь, что это такое...

— И знать не хочу. Что с вами будет, то и со мной.

Педро пожал плечами, как бы говоря, что с таким упрямством совладать не может. Его дело — предупредить, а она пусть поступает как

знает. Но Дора заметила, что он озабочен, и потому сказала:

— Вот увидишь, я не подведу.

— Да где это видано, чтоб девчонка путалась в такие дела?! А придется схлестнуться — ты что, в драку долезешь?!

— Необязательно мне драться. Разве мне другого дела не найдется?

Педро согласился. В глубине души он был доволен настойчивостью Доры, хотя и не знал, что из этого всего выйдет.

И вот полноправным членом шайки Дора, неотличимая от «капитанов», шла с ними по улицам Баии. Теперь город уже не казался ей враждебным: она полюбила его и изучила все его улицы и закоулки, она овладела искусством вскакивать на подножку движущегося трамвая и лавировать в потоке автомобилей. Она стала ловчее самых ловких, проворней самых быстроногих. Ходили они обычно вчетвером: Дора, Педро, Большой Жоан и Профессор. Верзила негр никуда не пускал ее одну и тенью следовал за нею, расплываясь в счастливой улыбке, когда она обращалась к нему. Он был предан ей, как пес, и не уставал удивляться ее дарованиям и талантам: ему казалось, что в храбрости она не уступит самому Педро.

— Похлеще любого парня! — с изумлением говорил он Профессору.

А тому как раз это не очень нравилось: он мечтал, чтобы Дора поглядела на него с нежностью, — только не с материнским участием, как на малышей или на Вертуна с Леденчиком, и не с братским чувством, как на Большого Жоана, на Кота, на Безногого и на него самого. Профессор хотел, чтобы она поглядела на него с любовью — как на Педро, когда тот мчался по улице, удирая от полицейских, а вслед ему неся истошный крик хозяина какой-нибудь лавчонки:

— Держи его! Держи вора! Караул, грабят!

Но такие взгляды она обращала только к Педро — к нему одному, — а он и не замечал их.

Вот почему Профессор отмалчивался, когда Большой Жоан начинал расхваливать отвагу Доры.

В ту ночь Педро Пуля явился в пакгауз с заплывшим глазом и расквашенными губами. Эти увечья он получил в схватке с Эзекиелом, главарем другой шайки, куда более дикой и малочисленной, чем «капитаны». Эзекнел — с ним было еще трое, в том числе — паренек, которого Педро когда-то выгнал вон за то, что тот воровал у товарищей, — подстерег его. Педро проводил Дору и ее брата до Ладейра-де-Табуан,



оттуда до пакгауза было рукой подать. Жоан был в это время чем-то занят и не смог пойти с ними. Педро сначала хотел довести их до самой «норки», но потом рассудил, что еще белый день и даже самый отпетый негр не рискнет увязаться за девушкой. Ему же еще надо было поспеть к Гонсалесу, чтобы получить деньги, причитающиеся «капитанам» за золотые безделушки, похищенные у одного богатого араба.

По дороге к перекупщику Педро размышлял о Доре, — вспоминал ее белокурые волосы, падавшие на плечи, ее глаза... Красивая, влюбиться можно. Влюбиться... Он запретил себе даже думать об этом. Он не хотел, чтобы кто-нибудь из шайки имел право на нечистые мысли в отношении Доры, а если он, атаман, будет относиться к ней, как к возлюбленной, то почему и другим не начать ухаживать за нею? И тогда законы «капитанов» будут нарушены, начнется разброд...

Он так задумался, что чуть было не налетел на Эзекиела, который в сопровождении троих дружков загородил ему дорогу. Эзекиел, долговязый мулат, курил сигару.

— Куда прешь? Ослеп? — спросил он и сплюнул вбок.

— Что тебе надо?

— Как там поживают твои сопляки? — спросил парень, выгнанный из шайки.

— А ты уже забыл, как они тебя вздули на прощанье? Я-то думал, отметина еще видна.

Тот, скрипнув зубами, шагнул к Педро, но Эзекиел удержал его:

— На днях наведаемся к вам в гости.

— Это еще зачем?

— А говорят, вы себе завели какую-то шлюшку и живете с нею всем миром...

— Прикуси язык, сволочь! — крикнул Педро и ударил Эзекиела так, что тот упал. Но трое остальных свалили Педро наземь, а Эзекиел двинул ногой в лицо. Тот, что был раньше «капитаном», приказал приятелям:

— Держите его крепче! — и с размаху ткнул Педро кулаком в зубы.

Эзекиел еще дважды ударил его ногой, приговаривая:

— Будешь знать, будешь знать, на кого хвост поднимаешь!

— Четверо... — прохрипел Педро, но новый удар заткнул ему рот.

Увидев, что к ним направляется полицейский, нападавшие удрали. Педро поднялся, подобрал берет. Слезы бессильной ярости текли у него по щекам, перемешиваясь с кровью. Он погрозил кулаком вслед четверке, уже скрывшейся за поворотом.

— А ну, проваливай отсюда, пока я тебя не забрал, — велел

полицейский.

Педро сплюнул кровь. Медленно побрел вниз, забыв про Гонсалеса. Он шел и бормотал себе под нос: «Вчетвером одного отметелить — дело нехитрое... Погодите, сволочи».

В пакгаузе никого не было, кроме Доры и Зе. Малыш уже спал. Закатное солнце, проникая сквозь дырявую крышу, заливало пакгауз причудливым светом. Дора, увидев входящего Педро, спросила:

— Ну как, вытряс из Гонсалеса деньги? Но тут она увидела подбитый глаз и кровоточащие губы.

— Что это с тобой?

— Эзекиел с дружками. Набросились вчетвером...

— Это он тебя так отделал?

— Все четверо. Я-то, дурак, думал, будем один на один...

Дора усадила его, принесла воды и чистой тряпочкой промыла садины и кровоподтеки. Педро строил планы мести. Дора поддержала:

— Мы им зададим перцу!

— Ты тоже пойдешь с нами? — рассмеялся Педро.

— Еще бы! — ответила она, осторожно смывая кровь с запекшихся губ. Она наклонилась к нему, лица их были совсем рядом, волосы Доры перепутались с волосами Педро.

— А из-за чего вышла драка?

— Так, ни из-за чего...

— Ну, скажи...

— Он сболтнул лишнее...

— Про меня что-нибудь?

Педро кивнул. Тогда она стремительно прижалась губами к его губам, вскочила на ноги и убежала. Он бросился за нею, но Дора где-то спряталась, а когда он наконец нашел ее, в пакгауз уже входили «капитаны». Дора издали улыбнулась Педро — в улыбке этой не было насмешки или лукавства. Но глядела она на него совсем не так, как на других: это был взгляд влюбленной девушки, чистой и робкой. Быть может, ни он, ни она не знали, что это любовь. В старом, еще колониальных времен, пакгаузе расцвела самая что ни на есть романтическая любовь, хоть в эту ночь и не было луны. Дора улыбалась и опускала глаза, а иногда вдруг томно щурилась, думая, что так и полагается вести себя влюбленной. И сердце ее начинало биться чаще, когда она взглядывала на него. Но Дора не знала, что это и есть любовь. Наконец взошла луна, осветила своим желтоватым сиянием весь пакгауз. Педро лежал на песке, закрыв глаза, и видел перед собой Дору. Он почувствовал, что она подошла и села рядом.

— Теперь ты моя невеста. Я женюсь на тебе, — сказал он, по-прежнему не открывая глаз.

— Ты мой жених, — тихонько произнесла Дора.

Ни он, ни она не знали, что это и есть любовь, но чувствовали: то, что творится с ними, — прекрасно.

Когда в пакгауз вернулись Безногий и Большой Жоан, Педро поднялся и подошел к ним. Сели вокруг свечки Профессора. Дора — между Жоаном и Долдоном. Тот закурил и сказал девочке:

— Я разучил такую самбу — умереть...

— Ты очень здорово играешь на гитаре, — ответила она.

— Еще бы! На всех праздниках — первый человек!

Педро оборвал их разговор. Тут все заметили его разбитое лицо, стали спрашивать, в чем дело, и он рассказал.

— Это так оставлять нельзя... — засмеялся Безногий. — Дело твое, конечно, но я бы не стерпел.

Был выработан план операции, и в полночь человек тридцать вышли из пакгауза и направились к Пор-то-да-Ленья, — там под мостом и под перевернутыми лодками ночевала обычно шайка Эзекиела. Рядом с Педро шагала и Дора, где-то раздобывшая себе нож.

— Ты прямо как Роза Палмейрао... — восхитился Безногий.

Не было на свете женщины отважней Розы Палмейрао. Она в одиночку справилась с шестью солдатами. Нету в порту человека, который бы не знал ее АВС, и потому польщенная Дора сказала Безногому:

— Спасибо, брат.

Брат... Какое это хорошее, доброе слово. Они привыкли называть Дору сестрой, а она обращалась к ним «брат», «братец». Самым маленьким она стала матерью, нежной и заботливой. Тем, кто постарше, — сестрой, которая и приласкать может, и поиграть, и разделить с человеком все опасности его нелегкой жизни. Но никто пока не знал, что Педро Пуля назвал ее своей невестой, — никто, даже Профессор. И Профессор втайне от всех тоже называет ее про себя — невеста.

Собака Безногого залаяла, и Вертун передразнил ее так, что не отличить было. Все засмеялись. Большой Жоан стал насвистывать самбу, а Долдон затянул ее в полный голос:

Бросила меня мулатка...

Они весело шли на драку. Они несли с собой ножи, но первыми пускать их в ход не собирались: у этих беспризорных детей была и

нравственность, и уважение к закону шайки, и чувство собственного достоинства.

— Здесь! — крикнул вдруг Большой Жоан.

Эзекиел, услышав шум, высунул голову из-под лодки:

— Кого это черт несет?

— «Капитанов песка», которые не привыкли спускать обидчикам! — ответил Педро.

И они ринулись в атаку.

Возвращались с победой. Кроме Безногого, которого полоснули ножом, и Барандана, которого вели под руки (ему достался здоровенный верзила, и если б не Вергун, негритенку пришлось бы совсем плохо), все были веселы и вспоминали подробности схватки. В пакгаузе их встретили восторженными криками, и долго еще обсуждали они на все лады поражение Эзекиела. Удивлялись храбрости Доры, которая дралась не хуже любого мальчишки. «Настоящий мужчина», — говорил про нее Жоан. Она была им сестрой, а они ей — братьями.

«Она — моя невеста», — думал Педро Пуля, растянувшись на песке. Пляж был залит желтоватым лунным светом, в синей воде бухты отражались звезды. Дора легла рядом с Педро. Они говорили — говорили обо всем на свете, говорили, как жених с невестой. Они не целовались, он не обнимал ее, не дотрагивался до нее, вожделение не коснулось их. Белокурые пряди ее волос легли на лоб Педро.

Дора засмеялась:

— Смотри, у нас волосы одного цвета!..

Оба засмеялись — громко и весело, как принято было у «капитанов». Она рассказывала ему, как жила на холме, о родителях, о соседях, а он вспоминал пережитые приключения:

— Когда я попал сюда, мне было пять лет. Меньше, чем твоему брату...

Они смеялись оттого, что радость их была чиста: им хорошо было друг с другом. Когда сон сморил их, они уснули бок о бок, держась за руки, как брат и сестра.

## Колония

Газета «Жорнал да Тарде» поместила «шапку» на всю первую полосу:

**«ГЛАВАРЬ ШАЙКИ „КАПИТАНОВ ПЕСКА“ АРЕСТОВАН!»**

Потом шли заголовки:

Девочка в банде — соучастница „Капитанов“ отправлена в приют — главарь оказался сыном забастовщика — его сообщникам удалось бежать — директор исправительной колонии заявляет: мы наставим его на путь истинный

Ниже была помещена фотография, изображающая Педро, Дору, Большого Жоака, Безногого и Кота в окружении полицейских и агентов в штатском, и следующая подпись:

Уже после того, как был сделан этот снимок, главарь шайки отвлек внимание полицейских и дал своим сообщникам возможность бежать.

И, наконец, следовал репортаж:

Четкие действия нашей полиции заслуживают всяческого одобрения. Вчера удалось схватить главаря шайки малолетних преступников, именующих себя «Капитаны песка». На страницах нашей газеты неоднократно затрагивалась проблема беспризорных детей, промышляющих воровством.

Мы уже несколько раз публиковали репортажи с места происшествия и интервью с пострадавшими во время этих налетов. Баия была терроризирована шайкой юнцов, но установить, где они обитают и кто их главарь, долгое время не

удавалось. Не так давно мы поместили письма начальника полиции, инспектора по делам несовершеннолетних и директора исправительной колонии, высказавшихся по поводу этой проблемы и пообещавших принять более решительные меры по искоренению детской преступности вообще и преступной деятельности «капитанов» в частности.

Вчера наконец органы защиты правопорядка добились успеха: несколько членов шайки, в числе которых оказалась одна девочка, были захвачены с поличным. К сожалению, их предводитель Педро Пуля, затеяв с агентами драку, отвлек их внимание и дал своим сообщникам возможность ускользнуть. Тем не менее арест главаря банды и его романтической возлюбленной, без сомнения, вдохновлявшей его на совершение противозаконных действий, следует счесть крупной победой нашей полиции. Переходим теперь непосредственно к изложению фактов, имевших место.

### ***Попытка ограбления***

Вчера после полудня пятеро злоумышленников проникли в особняк доктора Алсебиадеса Менезеса, находящийся на улице Сан-Бенто. Однако грабители были обнаружены сыном хозяина, студентом медицинского факультета: он запер их в комнате и вызвал полицию. Своевременно извещенный репортер нашей газеты явился туда в ту минуту, когда преступников уже собирались отправлять в Управление полиции. Он попросил разрешения сделать снимок и получил любезное согласие. Однако в тот момент, когда он поджег магний, вышеупомянутый Педро Пуля, главарь шайки, помог своим товарищам совершить,

### ***Побег***

С необыкновенной ловкостью высвободившись из рук агента, он сбил его с ног приемом капоэйры. Разумеется, полицейские бросились на него, чтобы воспрепятствовать побегу, но он остался на месте. Только тогда стал очевиден его план: он крикнул остальным арестованным: „Бегите!“, а они, воспользовавшись тем, что их охранял только один агент, свалили его и исчезли в переулках Ладейра-да-Монтанья.

### ***В управлении полиции***

Мы захотели побеседовать с Педро Пулей, но он отказался говорить. Допрос, целью которого было выяснить местонахождение шайки, ни к чему не привел. Он назвал только свое имя и кличку, а также сообщил, что является сыном известного смутьяна, убитого во время знаменитой портовой стачки в 191... году, и что у него нет ни родных, ни близких. Его спутница Дора — дочь прачки, скончавшейся от оспы в эту страшную эпидемию, опустошившую наш город. Несмотря на то что эта девочка попала в шайку только четыре месяца назад, она уже успела принять участие во многих налетах. Судя по ее тону, она очень гордится этим.

### ***Жених и невеста***

Дора заявила, что она — невеста Педро Пули и что они собираются обвенчаться. Это неискушенное существо, больше достойное жалости, чем наказания, говорит о своем женихе с

трогательной и наивной восторженностью. Ей всего четырнадцать лет, Педро потел семнадцатый. Девочка отправлена в сиротский приют, где, без сомнения, скоро забудет и свою романтическую влюбленность, и преступную деятельность. Что же касается Педро Пули, то он будет переведен в исправительную колонию для несовершеннолетних правонарушителей, как только сообщит, где скрывается его шайка. Полиция надеется сегодня же получить признание.

### *Слово директору исправительной колонии*

Директор Баиянской исправительной колонии — давний друг нашей газеты. Напечатанная в ней статья разоблачила клеветнические измышления, которые могли бросить тень на доброе имя колонии и опорочить ее руководителя. Сейчас он находится в полиции, чтоб увезти с собой Педро Пулю, когда с того будет снят допрос.

Вот что ответил нам директор:

— Он возродится к новой жизни, обещаю! Наша колония так и называется — исправительная. Вот мы его и исправим, — и предваряя наши невысказанные опасения, улыбнулся: — Убежит? От меня так просто не убежать. Даю вам слово, что это ему не удастся.

Профессор прочел все это вслух.

— Он уже в колонии, — сказал Безногий. — Я видел, как его вывели из управления.

— Мы его вызволим, — твердо сказал Профессор. — До его прихода ты, Безногий, будешь у нас атаманом.

Большой Жоан протянул руки к «капитанам»:

— Ребята, место Педро займет пока Безногий. Поняли?

— Он остался, чтобы дать нам смуться. Теперь мы должны помочь смуться ему. Верно?



Все согласились единодушно.

Педро представлял, что его ждет в этой комнате. Вместе с ним туда вошли двое полицейских, следователь и директор исправительной колонии. Дверь заперли. Потом он услышал издевательский голос следователя:

— Репортеров тут нет, щенок. Тебе придется отвечать на вопросы, хочешь ты этого или нет.

— Сейчас все скажет... — засмеялся директор колонии.

— Ну, так где вы ночуете? — спросил следователь.

Педро взглянул на него с ненавистью:

— Ждете, что расколуюсь?

— Вот именно.

— Долго ждать придется!

И отвернулся от них. По знаку следователя солдаты одновременно вытянули Педро хлыстами, а сам он подскочил и ударил его ногой в лицо. Педро упал, покатился по полу. Выругался.

— Ну что, не надумал? — спросил следователь. — Это ведь только для затравки... Скажешь?

— Нет! — крикнул Педро.

Тогда они взялись за него всерьез. Удары хлыста, пинки и оплеухи сыпались со всех сторон. Директор тоже поднялся и так двинул Педро ногой, что тот отлетел в угол и встать уже не смог. Полицейские поигрывали хлыстами. Педро увидел перед собой лица Профессора, Вертуна, Большого Жоана, Безногого, Кота. Все они зависят от него, их свобода — в его руках. Он их вожак, и он не предаст их. Сегодня, когда на улице Сан-Бенто всех повязали, он все-таки помог им уйти, хоть его и держали за руки. Он почувствовал гордость. Ничего он не скажет, а из колонии убежит и Дору спасет. И отомстит... Страшно отомстит...

Он кричит от боли, но ни единого слова выжать из него так и не удастся. Тьма застилает ему глаза, боль исчезает. Солдаты продолжают хлестать его, следователь осыпает ударами, но Педро ничего больше не чувствует.

— Все. Отрубился, — проворчал следователь.

— Давайте я им займусь, — предложил директор. — Возьму его к себе. У меня он в два счета заговорит, ручаюсь. А я дам вам знать.

Тот согласился. Директор колонии пообещал прислать завтра за арестованным и ушел.

Когда на рассвете Педро очнулся, он услышал, как печально поют в камере заключенные, — поют о солнце, освещающем улицы, о том, как

прекрасна свобода.

Утром за ним пришел надзиратель Ранулфо и отвел его в колонию. Все тело у Педро ныло от побоев, но на душе было легко: он ничего не сказал, никого не выдал. Он снова вспомнил песню, услышанную на заре: лучше свободы ничего нет на свете, говорилось в ней, на улицах играет солнце, а в камерах — вечная тьма, потому что там нет свободы. Свобода! Старый грузчик Жоан де Адан, который ходит по залитым ярким солнцем улицам, тоже говорил о ней, — говорил, что не из-за одного только жалованья устраивал он и будет устраивать впредь забастовки, — он боролся за свободу, которой так мало у докеров. За эту свободу сложил голову отец Педро. За свободу его товарищей так избили вчера в полиции его самого. Тело ноет, колени подгибаются, а в ушах все звучит песня арестантов. Там, за стенами тюрьмы, — солнце, жизнь, свобода... В окно Педро видит солнце, видит широкую улицу, убегающую вдаль от тяжелых ворот колонии. Здесь — темно как в погребе, куда никогда не заглядывает солнце. Там — свобода и жизнь. И месть, — добавляет он про себя.

Входит директор. Надзиратель Ранулфо вытягивается перед ним, показывает на Педро. Директор с улыбкой потирает руки, усаживается за огромный письменный стол. Окидывает мальчика долгим взглядом.

— Наконец-то... Давно мы тебя поджидаем, верно, Ранулфо?

Педель согласно кивает.

— Знаешь, кто это? Главарь пресловутых «капитанов»... Прирожденный преступник — достаточно только взглянуть на него. Ты, правда, не читал Ломброзо, а то сразу бы понял, о чем я толкую. Он с рождения отмечен печатью порока... Мальчишка, а на лице уже шрам. А глаза-то какие... Дорогому гостю — и почет особый.

Педро глядит на него, глаза его налиты кровью. Он измучен, ему до смерти хочется спать.

— Отвести его к остальным? — отваживается спросить Ранулфо.

— Что? К остальным? Нет. Для начала — в карцер. Там он поскорее поймет, куда попал, и станет сговорчивей.

Надзиратель ведет Педро к двери. Директор произносит вслед:

— Режим номер три.

— На воду и фасоль, значит... — бормочет про себя надзиратель. Потом оглядывает Педро, качает головой: — На таких харчах не больно-то разжиреешь...

Там, за стенами, — свобода и солнце. Тюрьма, арестанты, побои заставили Педро понять, что лучше свободы ничего нет на свете. Теперь он знает, что отец его погиб не за то, чтобы о нем рассказывали на рынке, на

пристани, в тавернах, — он отдал жизнь за свободу. Свобода — как солнце. Могущественней и лучше ее ничего нет на свете.

Он услышал, как лязгнул замок. Его бросили в карцер — крохотную клетушку под лестницей: там нельзя встать во весь рост и нельзя вытянуться. Можно только сидеть или лежать, неудобно скорчившись. Педро предпочел второе. Тело его неестественно изогнулось, и он подумал, что помещеньице это годится только для «человека-змеи» из цирка, — он однажды видел этот номер. Дверь была заперта наглухо, тьма была полная, воздух проникал только сквозь узкие зазоры между ступенями. Нельзя было даже пошевелиться: при малейшем движении рука или нога натывалась на стену. Все болело, поджатые ноги затекли. Лицо было покрыто корочками подсохших ссадин — напоминание о вчерашней беседе в полиции, — но на этот раз Дора не придет промыть его раны чистой холодной водой... Свобода — это еще и Дора. Быть свободным — это не только видеть солнце, ходить по улицам, смеяться раскатисто и громко. Быть свободным — это чувствовать, как прикасаются к лицу белокурые волосы Доры, слушать, как она рассказывает о своей жизни на холме, ощущать ее губы на своих разбитых губах. Невеста... Теперь свободы лишили и ее... У Педро заломило в висках. Дору тоже лишили теперь солнца и свободы. Отправили в сиротский приют. Невеста... Раньше он никогда не задумывался над тем, что значит это слово. Ему нравилось спать с негритянками, забредавшими на пляж, но ему и в голову не приходило, что можно просто лежать на песке рядом с девочкой и разговаривать с ней о всякой всячине, смеяться — и больше ничего. «Это какая-то другая любовь», — подумал он растерянно. Педро никогда толком не понимал, что такое любовь, да и что он мог знать о любви, — он, беспризорный, бездомный мальчишка, который благодаря своей силе, ловкости, отваге стал вожаком самой многочисленной и отчаянной шайки? Он был уверен, что этим словом «любовь» обозначают то, что делал он, сжимая в объятьях какую-нибудь негритянку или мулатку. Он познал эту любовь рано, когда ему еще не было тринадцати, да и кто этого не знал? Даже мальши, которым не совладать было с женщиной, с нетерпеливой радостью ждали день, когда это должно было случиться... Голова болела все сильнее, ныли кости. Хотелось пить — ведь целый день во рту у него не было ни капли воды... А вот с Дорой все вышло совсем по-другому. Когда она появилась в пакгаузе, все — и он тоже — захотели овладеть ею, совершить с этой хорошенькой девочкой то, что они называли любовью, то единственное, что было им известно о любви. Но он заступился за нее, пожалел. А потом она стала для всех как мать. И как сестра, — Большой Жоан правильно

сказал. Но для Педро она с самой первой минуты была чем-то иным. Нет, она была и любимой сестрой, и «настоящим парнем», но радость, которую он испытывал, глядя на нее, отличалась от радости брата, встретившего сестру. Невеста... Да, — он хотел бы спать с ней, хоть, может быть, и себе самому не признался бы в этом. Но разве достаточно ему было разговаривать с ней, слышать ее голос, иногда робко брать ее за руку? Нет. Он хотел бы обладать ею, только не так, как обладал он шальными чернокожими девчонками на пляже: ночь прошла — и все забыто. Каждую ночь, сколько бы ни было их у него в жизни, он хотел быть с нею, — всю жизнь. Есть же у других жены... Жена-мать, жена-друг, жена-сестра. Всем «капитанам» она была матерью, сестрой, другом, а Педро она стала невестой, и когда-нибудь он женился бы на ней. Ее не имеют права держать в приюте для сирот: она — не сирота! У нее есть жених, у нее есть целая куча братьев и сыновей, о которых она заботится... Усталость исчезла, ему хочется вскочить, броситься, что-нибудь немедленно сделать, чтобы вызволить Дору. Да что тут сделаешь, когда он и сам — под замком? Педро садится на полу. У самых ног прошмыгнули мыши, но он привык к ним в пакгаузе и не обращает на них внимания. А Доре, наверно, очень страшно. Тут любой спятит от страха, если только он — не вожак «капитанов». Что же говорить о девочке... Конечно, она — самая храбрая из всех женщин Баии, города, который славится своей отвагой, она храбрее самой Розы Палмейрао, одолевшей шестерых солдат, она отважней Марии Кабасу, подруги Лампиана, владевшей оружием как настоящий кангасейро. Да, храбрее! Ведь она еще девочка, она только начинает жить. Педро горделиво улыбнулся, несмотря на боль, на усталость, на жажду, которая мало-помалу стала совсем нестерпимой. Все на свете он готов отдать за стакан воды. За песками, со всех сторон окружающими пакгауз, плещется море, нескончаемое и необозримое, — море, которое бороздит на своем суденышке великий капоэйрист Богумил. Хороший он парень. Если бы он не научил Педро приемам ангольской капоэйры, самой прекрасной борьбы из всех, какие только есть в мире, борьбы-танца, он не смог бы помочь товарищам сбежать. Но здесь, в карцере, где и шевельнуться нельзя, искусство капоэйры ему ни к чему. Воды бы выпить... Неужели Дора так же страдает сейчас от жажды? Может, и ее для начала бросили в карцер? Педро представляет себе этот приют, и он кажется ему неотличимым от колонии. Ей-Богу, жажда губительней укуса гремучей змеи, страшней оспы: в горле стоит ком, мысли путаются. Хоть бы глоток!.. Хотя бы немного света!.. При свете он увидел бы смеющееся лицо Доры, а теперь, во тьме оно возникает перед ним измученное и страдальческое. Глухая

бессильная злоба поднимается в его душе. Он чуть привстает и тут же упирается головой в ступени лестницы, нависающие над ним. В ярости он колотит в дверь карцера. Ни звука не доносится снаружи. Ему вспоминается ехидное лицо директора. Ох, с каким наслаждением он вонзил бы ему клинок по рукоятку в самое сердце, и рука бы не дрогнула, и совесть бы не мучила. Но ведь нож у него отобрали... Ничего, Вертун отдаст ему свой, а ему останется пистолет. Вертун мечтает попасть в банду Лампиана, своего крестного, — тот убивает солдат и всех, кто мучает людей. В эту минуту разбойник кажется ему героем-мстителем. Лампиан — это карающий меч сертанских бедняков. Может быть, и он когда-нибудь попадет к нему в отряд, и, может быть, они ворвутся в Баию, и тогда он перережет глотку директору. Какая рожа у него будет, когда Педро во главе кангасейро вломится к нему в кабинет! Выронит небось бутылку вина, подаренную приятелем из Санто-Амаро... А Педро вонзит ему нож в горло. Нет, сначала он посадит его в этот самый карцер, поморит голодом и жаждой... Ох, как хочется пить... Это от жажды мерещится ему во тьме страдальческое лицо Доры. Он почему-то уверен, что и она мучается сейчас. Он закрывает глаза, пытается отвлечься мыслями о Профессоре, Коте, о Безногом, Долдоне, о Большом Жоане, о том, как вся шайка пойдет на штурм приюта, чтобы спасти Дору. Но ничего не выходит: перед глазами у него по-прежнему стоит ее измученное жаждой лицо. Он снова колотит в дверь.

Он бьет в нее руками и ногами, выкрикивает самые страшные ругательства. Никто не отзывается, никто не слышит его. Наверно, в аду так же, как в этом карцере, недаром Леденчик так боится ада. Это и вправду ужасно — терпеть такие муки... Арестанты в тюрьме пели о том, что за стенами тюрьмы — свобода и солнце. И вода! Много воды: текут реки, с отвесных скал свергаются водопады, шумит огромное таинственное море. Профессор, который знает все на свете, потому что по ночам читает при свечке ворованные книги («испортишь глаза, Профессор»), говорил ему, что в мире больше воды, чем суши, — он где-то это вычитал. А здесь, в карцере, нет ни капли. И там, где томится сейчас Дора, тоже нет. Зачем он колотит в дверь? Никто его не услышит, а руки так болят. Вчера его избili в полиции: спина у него вся в черных кровоподтеках, грудь изранена, лицо распухло. Потому директор и сказал, что у него вид прирожденного преступника. Да ничего подобного! Ему не нужно ничего, кроме свободы. Старик в таверне сказал как-то, что судьбу не перешибешь, а Жоан де Адан ответил: «Настанет день, когда мы сами перекроим свою судьбу», и он согласен с грузчиком. Его отец погиб за то, чтобы изменить судьбу

портовиков. Когда Педро вырастет, он тоже станет докером и тоже будет бороться за то, чтобы свобода, солнце, еда и вода принадлежали всем... Педро сплевывает, с трудом собрав слюну в пересохшем рту. Жажда мучит все сильнее. Леденчик хочет стать священником, чтобы избежать ада. Падре Жозе Педро знает, какие дела творятся в колонии, он пытался не допустить, чтобы дети попадали туда, но что может сделать безвестный священник один против всех? Против всех — потому что все ненавидят беспризорных мальчишек... Только бы выйти отсюда... Он попросит матушку Аинью, и она наведет на директора порчу... Огун поможет ей в память того, как он, Педро, выкрал его изображение из полиции... Педро немало успел в свои пятнадцать лет. И Дора — тоже, хоть совсем недавно попала в шайку... А теперь оба они умирают от жажды... Педро снова стучит в дверь. Бесплезно. Жажда грызет ему нутро, как бешеная крыса, как целое полчище крыс. Он падает на колени, силы покидают его. Он засыпает, но жажда мучает его и во сне, и снится ему, что крысы впиваются зубами в прекрасное лицо Доры.

Он приходит в себя оттого, что кто-то слегка постукивает по одной из ступеней лестницы. Скорчившись, приподнимается — встать во весь рост не дает ему скошенный потолок.

— Эй, кто там? — тихонько окликает он.

— А ты кто? — слышится в ответ, и сумасшедшая радость захлестывает его.

— Педро Пуля.

— Это ты верховодишь у «капитанов»?

— Я.

Раздается свист, а потом голос торопливо произносит:

— Сегодня приходил один из ваших, просил кое-что тебе передать...

— Ну?..

— Сюда идут... Потом! — И шаги удаляются.

Теперь на сердце у него легче. Может быть, это Дора прислала ему весточку? Да нет, что за чушь лезет в голову? Как могла она исхитриться, если тоже сидит взаперти? Это, конечно, «капитаны». Наверно, ломают себе голову, думают, как бы вытащить его отсюда. Сейчас самое главное — выбраться из карцера: отсюда не сбежишь. А вот потом, когда он выйдет из этой мышеловки, — дело другое... Дайте только выйти... Педро садится, начинает думать. Сколько времени он сидит, сколько дней прошло? Дня здесь не бывает, тянется одна нескончаемая темная ночь. Он нетерпеливо ждет возвращения мальчика, но тот почему-то задерживается, и Педро начинает тревожиться. Интересно, как там без него в шайке? Профессор

наверняка уже выдумал, как ему сбежать отсюда. Да ведь не сбежишь. А пока он в колонии, и Доре придется оставаться в приюте... В эту минуту дверь открывается, Педро вскакивает, думая, что его сейчас выпустят, но чья-то рука отталкивает его.

В дверях стоит надзиратель Ранулфо с кружкой. Педро почти выхватывает ее у него из рук, выпивает воду несколькими глотками. Как мало! Только жажду обмануть... Надзиратель протягивает ему глиняную миску, в которой плавают несколько фасолин.

— А нельзя мне еще воды? — спрашивает Педро.

— Водичка завтра будет, — со смешком отвечает тот.

— Хоть глоточек...

— Сказал ведь: завтра! А будешь колошматить в дверь — просидишь тут не неделю, а две. — И дверь захлопывается перед самым его носом.

Гремит ключ в замке. Педро нашаривает в темноте миску, жадно выпивает мутную воду, даже не заметив, какая она соленая. Потом глотает твердые фасолины. От соленой фасоли пить хочется еще больше. Что ему одна кружка? Он бы сейчас выпил ведро... Педро снова укладывается на полу, старается ни о чем не думать. Проходят часы. Перед глазами у него стоит печальное лицо Доры. Болит все тело.

Какое-то время спустя снова раздается стук. Он подает голос.

— Тебе велели передать, чтобы не вешал нос. Они тебя вытащат, как только выйдешь из карцера...

— Сейчас что, ночь? — спрашивает Педро.

— Вечер.

— Помираю, так пить хочется...

В ответ — ни звука. Педро в отчаянии думает, что этот паренек ушел. Но почему он не слышал шагов на лестнице?

— Терпи. Кружку сюда никак не просунуть, — вдруг слышит он. — Закурить хочешь?

— Еще бы!

— Подожди минуту.

Через минуту в дверь еле слышно стучат, и откуда-то снизу раздается голос:

— Я просунул сигаретку. Пошарь посередине.

Педро осторожно вытягивает из щели под дверью сплюснутую сигарету, спичку и кусочек коробка.

— Спасибо, — шепчет он.

За дверью возникает какой-то шум, слышится звонкая пощечина, звук падающего тела, а потом другой, незнакомый голос произносит:

— Еще раз поймаю — прибавлю срок!

Педро съезживается. Этот парень наверняка поплатится за свою доброту. Когда он выйдет отсюда, обязательно возьмет его к себе. К солнцу, к свободе. Осторожно, чтобы не уронить единственную спичку, он закуривает, пряча сигарету в кулак, чтобы сквозь щели между ступенями не заметили огонек. Снова наваливается на него безмолвие, лезут в голову тягостные мысли, проплывают перед глазами лица.

Докурив, он на коленях пристраивается в углу. Если б можно было заснуть... Исчезло бы страдальческое лицо Доры.

Сколько часов провел он здесь? Сколько дней? Тьма по-прежнему беспросветна, жажда все так же безжалостна. Три раза приносили ему воду и фасоль. Он уже понял, что пить соленый фасолевый отвар нельзя — от него жажда мучит еще сильнее. Он ослабел, ноги точно чужие. От параша в углу исходит зловоние, ее не выносят. Живот у него болит, кажется, будто все кишки перепутались. Ноги не слушаются. Поддерживает его одна только ненависть, — ненависть, переполняющая душу.

— Сволочи... Сукины дети...

Только это и сумел он произнести, да и то шепотом. Нет больше сил кричать, барабанить в дверь. Ясно, что здесь он и умрет. Он видит распростертую на полу, умирающую от жажды Дору, а рядом — Большого Жоана, отделенного от девочки решеткой. Здесь же стоят плачущие Профессор и Леденчик.

В четвертый раз принесли ему воды и фасоли. Воду он выпил, а есть не стал. Слабым голосом произнес:

— Сволочи... Сволочи...

Но еще до того, как ему принесли еду (если можно назвать это едой), в этот день (для Педро все дни превратились в одну нескончаемую ночь) знакомый голос снова окликнул его. Он отозвался, не вставая:

— Сколько дней я тут?

— Пять.

— Дай закурить.

Сигарета немного подбодрила его, мысли прояснились, и он понял, что через пять дней умрет. Такую пытку не вынесет и взрослый мужчина. И ненависть его достигла предела — дальше уж некуда.

Опять ночь. У него на глазах умирает Дора. Рядом с нею, за прутьями решетки — Большой Жоан. Плачет Леденчик, плачет Профессор. Во сне



все это или наяву? Ох как болит живот...

Сколько же времени будет длиться эта тьма? Сколько будет мучиться перед смертью Дора? Вонь от бочонка в углу нестерпима. Дора умирает, кончается. Может, и он живет последние минуты?

Рядом с Дорой вдруг появляется лицо директора. Пришел помучить ее перед смертью. Почему она так долго не умирает? Лучше бы — сразу... А теперь вот директор пришел, чтобы муки ее стали невыносимыми...

— Вставай, — слышит он голос. Директор пинает его ногой.

Педро шире открывает глаза. Доры нет. Перед ним — ухмыляющееся лицо директора:

— Ну, образумился?

Падая, Педро успевает подумать: «Как режет глаза свет! Жива ли Дора?»

Он снова в кабинете директора. Тот все улыбается.

— Как тебе у нас в гостях? Нравится? Теперь небось больше не потянет воровать, а? Я и не таких обламывал!

Педро исхудал до неузнаваемости: кожа да кости. Лицо у него даже не бледное, а зеленое, оттого что желудок расстроен. Рядом с ним стоит надзиратель Фаусто — это его голос слышал он во тьме карцера. Надзиратель — здоровенный детина, ходят слухи, что в жестокости с ним может соперничать только сам директор.

— Куда его? — спрашивает он. — В кузницу?

— Нет, лучше — на сахарную плантацию. Пусть на земле поработает, — смеется директор.

Фаусто кивает.

— Глаз с него не спускай. Это злобная тварь. Ничего, мы его быстро приведем в чувство... Понял, негодяй?

Педро не опускает перед ним глаз. Надзиратель подталкивает его к двери.

Только теперь он видит все здание колонии. Во дворике парикмахер машинкой остригает его наголо, белокурые завитки падают на землю. Ему дают штаны и куртку из голубоватой бумажной ткани, и он переодевается. Потом Фаусто ведет его в мастерскую:

— Найдется мачете и серп?

Он вручает то и другое Педро и отправляет на плантацию сахарного тростника, где работают содержащиеся в колонии дети. Педро так ослабел, что едва удерживает в руках мачете. Надзиратели то и дело бьют его, но он

не произносит ни звука.

Вечером их строем ведут обратно. Педро пытается угадать, кто же приносил ему сигареты. Они поднимаются по лестнице, входят в дортуар, не зря помещающийся на третьем этаже: попробуй-ка спрыгнуть! Дверь за ними запирается. Фаусто приказывает:

— Грасса, молитву!

Краснолицый мальчик выходит вперед и начинает читать «Символ веры». Все хором повторяют за ним слова молитвы и крестятся. Потом следует «Отче наш» и «Богородице» — голоса звучат громко и внятно, хотя все устали до смерти. Наконец-то можно лечь... Кровать застелена грязным одеялом, белье — одеяло да наволочку на каменно твердой подушке — здесь меняют раз в две недели.

Уже засыпая, Педро чувствует на плече чью-то руку.

— Ты Педро Пуля?

— Да.

— Это я к тебе приходил тогда, передавал весточку...

Педро разглядывает его. На вид этому мулату лет десять.

— Они еще навевывались?

— Каждый Божий день. Все спрашивали, когда тебя выпустят из карцера.

— Скажи им, что я — на плантации.

— Скажу.

— Сколько же дней я там проторчал?

— Восемь. Не каждый выдержит. Одного парня оттуда вынесли ногами вперед...

Мальчик уходит. Педро не успел спросить, как его зовут. Он хочет сейчас только одного — спать. Но раздается какой-то шум, и из-за дощатой перегородки появляется надзиратель Фаусто.

— В чем дело?

В ответ — молчание.

— Встать! — хлопает он в ладоши.

Обводит взглядом лица мальчишек:

— Так. Никто, значит, не знает?

Молчание. Надзиратель, протирая глаза, обходит ряды кроватей. Стрелки огромных часов на стене показывают десять.

— Никто не желает говорить?

Молчание. Надзиратель скрипит зубами:

— Будете час стоять столбом. До одиннадцати. Кто приляжет, пойдет в

карцер. Он как раз освободился...

Тишину пререзает детский голос:

— Сеньор надзиратель...

Голос принадлежит маленькому, изжелта-бледному мальчику.

— Ну, Энрике, говори.

— Я знаю, почему был шум.

Все неотрывно смотрят на доносчика. Фаусто подбадривает его:

— Говори, Энрике, выкладывай что знаешь.

— Жеремиас, сеньор надзиратель, забрался в кровать к Берто. Они, сеньор надзиратель, хотели заняться своими гадостями...

— Жеремиас! Берто!

Названные выходят вперед.

— К дверям! Стоять до двенадцати! Остальным — спать! — И Фаусто еще раз оглядывает своих воспитанников. Когда надзиратель уходит к себе, Жеремиас показывает Энрике кулак. Педро засыпает под оживленное жужжание голосов.

Утром, в столовой, они пьют водянистый кофе, жуют черствые хлебцы. Сосед по столу, понизив голос, спрашивает Педро:

— Это ты — вожак «капитанов»?

— Я.

— Видел в газете твою фотографию... Ты — молодец! Но тебе крепко досталось... — Он сочувственно смотрит в исхудалое лицо Педро, проглатывает кусок и продолжает: — Надолго тут застрянешь?

— Нет. Скоро смоюсь.

— Я тоже. Я кое-что уже придумал... Возьмешь меня к себе?

— Возьму.

— А где ваша «норка»?

— На Кампо-Гранде всегда найдешь кого-нибудь из наших, — осторожно отвечает Педро.

— Думаешь, донесу? — с обидой спрашивает тот.

Надзиратель Кампос хлопает в ладоши. Все встают и строем расходятся по мастерским или на плантации. Днем Педро замечает на дороге Безногого. Однако надзиратель тут же прогоняет его.

Наказание. Это слово звучит в колонии чаще всех прочих. За малейшую провинность мальчишек избивают, по каждому пустяку секут или запирают в карцер. В душах воспитанников копится ненависть.

Подобравшись к краю плантации, он умудряется передать Безногому

записку, и на следующий день находит среди зарослей тростника моток веревки — тонкой, прочной, новенькой веревки. Наверно, кто-нибудь из друзей подкинул ее ночью. В мотке Педро обнаруживает нож и кладет его в карман. Но как пронести веревку в дортуар? Под рубаху не спрячешь — сразу будет заметно. Днем бежать невозможно: надзиратели караулят каждый шаг.

Внезапно начинается свалка. Жеремиас бросился на Фаусто с мачете. На выручку тому, размахивая хлыстами, кинулись надзиратели, Жеремиаса хватают. Педро, воспользовавшись суматохой, сует веревку под блузу и бежит в спальню. Навстречу ему вниз по лестнице спешит надзиратель с револьвером. Педро успевает юркнуть в открытую дверь, и тот не замечает его.

Педро прячет веревку под матрас и бегом возвращается на плантацию. Жеремиаса волокут в карцер. Надзиратели пересчитывают мальчишек. Ранулфо и Кампос устремляются вдогонку за Агостиньо, который воспользовался суматохой и убежал. Фаусто, бережно неся пораненную руку, идет в лазарет. Директор, яростно сверкая глазами, снует вперед-назад. Снова пересчитывают воспитанников, и один из надзирателей спрашивает Педро:

— Ты где был?

— Отошел в сторонку, чтоб меня не впутали в это дело.

Надзиратель глядит на него недоверчиво, но больше не цепляется.

Приволакивают беглеца Агостиньо, его избивают тут же, на глазах у всех. Потом директор приказывает:

— В карцер его!

— Там ведь Жеремиас... — напоминает Ранулфо.

— Пусть вдвоем посидят, веселей будет!..

От этих слов Педро пробирает дрожь. Как можно уместиться вдвоем в этой камере, где и одному тесно?

В эту ночь он решает ничего не предпринимать, потому что все надзиратели настороже и особенно бдительны. Мальчишки скрипят зубами в бессильной ярости.

Но двое суток спустя, когда Фаусто ушел в свою комнатку за перегородкой, когда все уснули, Педро поднялся с кровати, вытащил из-под матраса моток веревки. Его койка стояла у самого окна. Он распахнул створки, привязал веревку к выступавшему из стены костылю, выбросил свободный конец наружу. Она оказалась коротка и повисла довольно высоко от земли. Стараясь не шуметь, он вытянул веревку обратно. В эту

минуту его сосед поднял голову от подушки:

— Рвешь когти?

Этот паренек пользовался недоброй славой наушника. Потому его и положили рядом с новеньким. Педро вытащил нож:

— Видал? Постарайся уснуть. Если только цыкнешь — глотку перережу, честное слово Педро Пули. А если донесешь потом... Ты слышал про «капитанов»?

— Слышал...

— Ну, так они тебя на дне морском достанут.

Положив нож рядом, Педро снова подтягивает веревку, привязывает к ней простыню, затягивает морским узлом — этому искусству обучил его когда-то Богумил. Еще раз грозит мальчишке, выбрасывает веревку и, ступив на подоконник, начинает спуск. Он не успевает преодолеть и половины пути, как над головой раздаются крики: мальчишка все-таки поднял тревогу. Педро скользит по веревке, потом разжимает руки и прыгает. В животе что-то оборвалось, но он уже катится по земле, перемахивает через забор, спасаясь от сторожевых псов, которых на ночь спускают с цепи, выбирается на дорогу. У него в запасе есть еще несколько минут; пока надзиратели оденутся, пока спустятся, пока отправят по его следу собак. Педро сбрасывает с себя одежду, берет в зубы нож — чтобы ищейки не нашли по запаху. И, голый, в холодном предутреннем сумраке бежит навстречу солнцу, навстречу свободе.

Профессор прочел заголовок в «Жорнал да Тарде»:

**Главарю «Капитанов песка» удалось бежать из исправительной колонии**

Потом шло длинное интервью с разъяренным директором. Весь пакгауз надрывается от смеха. Даже падре Жозе Педро хохочет, — хохочет так, словно он — полноправный член шайки.

## Сиротский приют

Хватило месяца в приюте, чтобы из души Доры ушла радость, а из тела — бодрость и сила. Она родилась на холме, она провела детство на его крутых улочках. Потом началась полная приключений жизнь в шайке! Дора не была тепличным цветком. Дора любила солнце, улицу, свободу.

Здесь, в приюте, ей туго заплели волосы в две косички, стянули их розовыми бантами. Дали голубое полотняное платье и синий передник. Посадили за парту вместе с девочками пяти-шести лет. Кормили плохо. Наказывали. Оставляли без обеда, не выпускали на прогулку. Потом началась горячка — положили в приютский лазарет. Вышла она оттуда еле живой. Температура держалась, но она никому об этом не говорила, потому что ненавидела унылую больничную палату, — туда никогда не заглядывало солнце и, казалось, вечно царят унылые сумерки — медленная смерть дня. Если удавалось она подходила к воротам, видела круживших у приюта Профессора или Большого Жоана. Однажды они сумели просунуть ей записку. Педро сбежал из колонии, Педро скоро выкрадет ее отсюда. Радость придала ей сил.

Во второй записке было сказано, чтобы она постаралась снова попасть в лазарет. Но стараться не пришлось: монахиня заметила, как пылает лицо Доры, положила ей ладонь на лоб:

— Да ты же вся горишь!..

И снова полутьма палаты. Там как в могиле: тяжелые шторы не пропускают солнце. Врач осмотрел ее и печально покачал головой.

Но появление «капитанов» точно залило лазарет светом. «Как он исхудал», — подумала Дора, увидев перед собой Педро. Рядом с ним стояли Профессор, Большой Жоан, Кот. Профессор припугнул сиделку ножом. Лежавшая на соседней койке девочка, хворавшая ветрянкой, тряслась под простыней. Жар испепелял Дору, она едва смогла подняться.

— Куда вы? Ей очень плохо! — прошептала сиделка.

— Ничего, Педро, я пойду... — сказала Дора.

Они вышли. У ворот стоял Вертун, держа за ошейник огромного пса, которому предварительно скормил кусок мяса. Кот открыл створку, пропустил всех вперед и сказал:

— Прошло как по маслу.

— Скорей, скорей, пока переполох не начался, — поторопил их

Профессор.

Они зашагали по улице. Дора больше не чувствовала жара: она шла рядом с Педро, она держала его за руку.

Прикрывал отход Вертун: он поигрывал ножом, на угрюмом лице сияла улыбка.

## Тихая ночь

«Капитаны» смотрят на ту, кто стала им сестрой и матерью. Профессор — на свою любимую. Педро — на свою невесту. Все молчат. «Мать святого» донна Аинья творит заговор, чтобы унялась сжигающая Дору горячка, веткой бузины отгоняет лихорадку. Блестящие от жара глаза Доры улыбаются. Кажется, что покой, осеняющий по ночам Баию, поселился теперь и в ее душе.

«Капитаны» молча смотрят на сестру, мать, невесту. Ее свалила лихорадка. Куда девалась прежняя ее веселость, почему она не играет больше со своими сыновьями, почему не выходит по вечерам на воровской промысел со своими братьями — неграми, белыми, мулатами? Почему исчезла радость из ее глаз? Теперь в них — только покой, безмятежный покой баиянской ночи; Педро Пуля сжимает ее руку.

А «капитанам» тревожно, «капитаны» боятся потерять Дору. Но в глазах у нее — покой, покой баиянской ночи, и глаза ее покорно закрываются, когда матушка Аинья веткой бузины отгоняет от нее лихорадку.

Ночной покой снисходит на пакгауз.



## Дора, жена

Пес воет на луну. Безногий провожает матушку Анинью через пески. Жрица сказала, что лихорадка скоро уймется. Леденчик побежал за падре: может, тот знает какое-нибудь верное средство.

В пакгаузе тихо. Дора попросила «капитанов» идти спать, и они улеглись на полу, но мало кому удастся заснуть этой ночью: все они думают о болезни Доры. А она поцеловала брата, отправила его спать. Он еще несмышленьш, он многого не понимает, он знает, что сестра больна, но даже и не думает о том, что она навсегда может покинуть его. А «капитаны» только об этом и думают, только этого и бояться. Неужто снова окажутся они без матери, без сестры, без невесты?

Рядом с Дорой остались только Педро и Большой Жоан. Негр улыбается, но Дора видит, что улыбается он через силу, наперекор снедающей его тоске, только чтобы утешить ее и подбодрить. Педро сжимает руку Доры. Чуть поодаль, скорчившись, уронив голову в ладони, сидит Профессор.

— Педро... — зовет Дора.

— Я здесь.

— Сядь поближе.

Педро пододвигается. Голос ее еле слышен.

— Хочешь чего-нибудь? — ласково спрашивает он.

— Ты любишь меня?

— Разве ты не знаешь?..

— Полежи со мной.

Педро вытягивается рядом с ней. Большой Жоан отходит к Профессору; оба молчат, оба грустят. Тихая ночь опустилась на пакгауз, и в неестественно блестящих глазах Доры — отзвук этой тишины.

— Ближе...

Педро придвигается, теперь они лежат вплотную друг к другу. Дора кладет его руку себе на грудь. Тело ее так и пышет горячечным жаром. Ладонь Педро — на ее девичьей груди. Дора водит его рукой по своей груди, спрашивает:

— Ты знаешь, что я уже взрослая?..

Его рука — на ее груди, тела их совсем близко. В глазах у нее — безмерный покой.

— Это случилось там, в приюте... Теперь я могу быть твоей женой.

Педро смотрит на нее испуганно:

— Ведь ты же больна...

— Обними меня перед тем, как я умру...

— Ты не умрешь!

— Если обнимешь, не умру.

Тела их сливаются. Педро пронизывает порыв, пугающий его самого. Он боится причинить Доре боль, но она вроде бы не чувствует ее.

— Теперь ты моя, — говорит он прерывистым голосом.

Ее пылающее от жара лицо становится счастливым. Безмятежный покой уступает место радости. Педро осторожно отстраняется.

— Как хорошо, — шепчет Дора. — Я — твоя жена.

Педро целует ее, и прежнее выражение кроткого спокойствия появляется на лице Доры. Она смотрит на него с любовью.

— Теперь я буду спать... — слышит он.

Педро лежит рядом, сжимает ее горячую руку. Это его жена.

Мир и покой нисходят на новобрачных. Любовь всегда сладостна и добра, даже если смерть — совсем рядом. Тела их неподвижны, но в детских сердцах нет больше страха. Только покой, — покой баиянской ночи.

На рассвете Педро дотрагивается до лба Доры. Он — ледяной. Сердце ее не бьется. Крик его раскатывается по всему пакгаузу, и разбуженные им «капитаны» вскакивают. Большой Жоан смотрит на Дору широко открытыми глазами, потом поворачивается к Педро:

— Ты не должен был...

— Она сама позвала меня, — отвечает тот и торопливо выходит из пакгауза, чтобы не разрыдаться при всех.

Профессор стоит над телом Доры, не решаясь дотронуться до него. Одно он понимает ясно: здесь ему больше оставаться незачем, теперешняя его жизнь в шайке кончена. Леденчик и падре Жозе Педро входят в пакгауз. Священник берет руку Доры, потом прикасается к ее лбу.

— Умерла.

Он начинает читать молитву, и почти все повторяют за ним:

— «Отче наш, суций на небесах...»

Педро вспоминает, как молились хором в колонии. Плечи его начинают трястись, он затыкает уши. Поворачивается, смотрит на мертвую Дору — Леденчик вложил ей в пальцы лиловый цветок — и плачет навзрыд.

Пришли матушка Анинья и Богумил. Педро молча сидит в стороне.

Жрица говорит:

— Как тень исчезла она с этого света, а на том станет святой. Зумби<sup>17</sup>, король Палмареса, стал святым, и мы устраиваем кандобле в его честь. Роза Палмейрао тоже стала святой... Те, кто не знал страха при жизни, становятся нашими святыми.

— Как тень исчезла... — повторяет Большой Жоан. Как тень возникла она, как тень исчезла. Никто не может понять и объяснить это, — никто, даже Педро, который был ее мужем, даже Профессор, который любил ее.

— Господь принял ее душу, — говорит падре. — Она была безгрешна, она не знала, что такое грех...

Леденчик молится. Богумил знает, чего ждут от него. Надо взять тело Доры на борт баркаса и похоронить ее в море, у старого форта. Иного выхода нет. Но как объяснить это падре Жозе Педро? Безногий торопливо и сбивчиво растолковывает ему положение. Сначала падре приходит в ужас: это грех, на который он не может согласиться. Потом понимает, что хоронить Дору по обряду — это значит выдать «капитанов» властям. Педро Пуля хранит молчание.

А вокруг — тихая ночь. И в мертвых глазах Доры — матери, сестры, невесты, жены — покой. Кое-кто всхлипывает. Тело понесут Вертун и Большой Жоан. У Вертуна руки точно одеревенели, а Жоан рыдает как женщина. Матушка Аинья набрасывает на тело Доры белое кружевное покрывало.

— Иеманжа примет ее. Дора тоже станет святой.

Педро Пуля обнимает мертвую Дору, не дает вынести ее. Профессор подходит к нему:

— Отпусти. Я тоже любил ее. Что уж теперь...

Дору выносят в безмятежную ночную тишину, к таинственному необозримому морю. Падре читает молитвы, и странная похоронная процессия движется в темноте к баркасу Богумила. Педро, стоя на берегу, видит, как отчаливает парусник и уходит все дальше. Он простирает вслед ему руки.

«Капитаны» возвращаются к себе. Тает вдалеке белый парус. Луна освещает песок пляжа, и на поверхности воды звезд столько же, сколько на небе. Ночь тиха и спокойна, как лицо Доры.



## Звезда с золотой гривой

В баиянской гавани существует поверье: новая звезда загорается на небе, когда умирает бесстрашный человек. Так было с Зумби, с Лукасом да Фейра, с Безоуро, со всеми отважными неграми. Но если умирает женщина, пусть хоть самая храбрая на свете, звезда не появляется. Роза Палмейрао, Мария Кабасу стали святыми на африканских кандомбле, но ни одна из них не превратилась после смерти в звезду.

Педро Пуля бросается в воду. Он не может больше сидеть в пакгаузе, слушать всхлипывания и причитания. Он пойдет следом за Дорой, и в царстве Иеманжи они будут вместе. Он плывет за баркасом. Он видит, как с палубы простирает к нему руки Дора. Больше для него нет ничего и не будет вовек. А силы его уже на исходе. Он плывет, глядя на звезды, на огромную желтую луну. Разве страшно умереть, отыскивая любимую? Разве страшно утонуть, плывя навстречу любви?

И разве имеет значение, что в эту ночь астрономы заметили в небе над Баией комету — звезду с золотой гривой? Педро видел, как Дора превратилась в звезду и взлетела в небеса. Дора оказалась отважней всех, смелей Розы Палмейрао и Марии Кабасу: в смертный свой час эта девочка, едва вошедшая в пору, наградила его своей любовью. Вот потому и засияла над Баней новая звезда, — звезда с длинной золотой гривой, звезда, которая не загоралась еще ни в чью честь.

Педро Пуля счастлив. Мир и покой осеняют наконец и его. Теперь он знает, что среди тысяч звезд, горящих в баиянском небе, равном которому нет на свете, будет отныне сиять ему его звезда.

Далеко от берега подобрал его баркас Богумила.

# **Песнь Баии, песнь свободы**

## Пути-дороги

С того дня, как умерла Дора, прошло не много времени, и «капитаны» еще не успели забыть тех кратких, но запомнившихся им дней, которые она провела у них, не забыли о ее болезни и смерти, и кое-кто, входя, еще смотрит по привычке в тот угол, где она любила сидеть вместе с Профессором и Большим Жоаном, смотрит так, словно надеется опять увидеть ее там. Никто не может понять, как это так получилось, что у них нежданно-негаданно появилась мать и сестра, и потому они продолжают искать ее глазами, хоть и видели, как отчалил от берега баркас Богумила, чтобы похоронить Дору в морской пучине. Один только Педро Пуля не ищет Дору в пакгаузе, а все поглядывает на небо, мечтая разглядеть среди множества звезд ту, у которой такая длинная золотистая грива.

А Профессор, придя однажды вечером в «норку», не зажег свечу, не открыл книгу, ни с кем не завел разговора. С тех пор, как лихорадка унесла Дору, прежняя его жизнь кончилась безвозвратно. Ее присутствие придавало всему смысл и новое значение. Пакгауз в такие минуты казался ему рамой ненаписанных картин: вот Дора по-матерински склоняется над Котом, и ее белокурые волосы падают ему на грудь. Вот она целует брата и шепчет ему «покойной ночи». Вот она поет кому-то колыбельную, вот, точно бесстрашная мулатка из сертанов, горделиво улыбается Вертуну, любясь его отвагой. Вот после целого дня, проведенного на улицах Баии, после всех приключений, преследований и погонь она, хохоча, вбегает в пакгауз, и волосы ее летят за нею. А вот она, сгорая от лихорадки, простирает руки к возлюбленному, зовя его для первого и последнего объятия. А теперь пакгауз стал для него рамой, из которой вырезали холст; теперь все прежнее потеряло для него смысл. А может быть, и наоборот: приобрело новый смысл, отталкивающий и ужасный. Профессор сильно изменился со дня смерти Доры: стал молчалив и угрюм, постоянно о чем-то размышлял и где-то отыскивал того человека, который дал ему на улице Чили свою карточку.

И вот пришел вечер, когда Профессор не зажег свечу, не раскрыл книгу, не заговорил с Большим Жоаном, присевшим рядышком. Он стал собирать свои пожитки — большую их часть составляли книги. Большой Жоан глядел на него молча. Он все понял, хотя славился в шайке тем, что соображал очень туго. А когда вернувшийся Педро сел рядом и угостил

Профессора сигаретой, тот вдруг сказал:

— Знаешь, Пуля, я ухожу...

— Куда?

Профессор оглядел пакгауз, веселых мальчишек, которые, пересмеиваясь, сновали взад-вперед в полутемном пакгаузе и как будто не замечали шнырявших под ногами крыс.

— Что у нас есть? Что нас ждет? Зуботычины в полиции? Все говорят, что когда-нибудь все изменится, — и падре Жозе Педро, и Жоан де Адан, и ты тоже... Я решил свою жизнь изменить сам.

Педро не промолвил в ответ ни слова, но в глазах у него застыл немой вопрос; а Большой Жоан опять все понял.

— Я буду учиться у одного художника из Рио... Доктор Дантас — помнишь, тот с мундштуком? — написал ему, послал мои рисунки... И вот теперь пришел ответ: он хочет, чтобы я приехал. Когда-нибудь я изображу нашу жизнь, наш мир... Помнишь, я говорил тебе?.. Теперь это у меня выйдет...

Голос Педро звучал ласково:

— Ты не только изобразишь нашу жизнь — ты поможешь ее изменить...

— Это как? — спросил Большой Жоан.

Профессор тоже не понял, а Педро не смог бы найти слова, чтобы объяснить. Но он верил в Профессора и знал, что на картинах, которые тот напишет, всегда будет отсвет ненависти, горевшей у него в душе, и отсвет любви к свободе и справедливости. Все это останется при нем, никуда от этого не деться. Не зря провел он детство в шайке «капитанов» — «капитаном» он и останется, даже если выйдет из него не вор, не убийца, не припортовый бездельник, а художник.

Педро не мог выразить все словами и потому сказал:

— Мы тебя никогда не забудем. Ты нам читал книги, ты среди нас был самый башковитый... Самый толковый...

Профессор опустил голову. Большой Жоан вскочил на ноги, и пакгауз задрожал от его крика, призывного и прощального вопля:

— Все сюда!

Мальчишки столпились вокруг них. Негр вскинул руки:

— Профессор от нас уходит. Он будет теперь художником в Рио-де-Жанейро! Ура Профессору!

От дружного «ура» сердце Профессора сжалось. Он еще раз обвел пакгауз глазами: нет, это не пустая рама, это фон для множества картин, замелькавших перед ним, как кадры киноленты. Нищета. Отвага. Борьба.



На минуту ему вдруг захотелось остаться, но он тотчас отогнал от себя эту мысль. Что толку! Что это изменит? Когда-нибудь он поможет им настоящему... Он покажет всему миру, как они живут... Профессора обнимают, жмут ему руку. Вертун печален, словно у него на глазах застрелили кангасейро из отряда Лампиана.

Вечером на пристани доктор Дантас — он оказался поэтом — отдает Профессору письмо и деньги.

— Я отправил ему телеграмму. Он тебя встретит. Надеюсь, ты оправдаешь мои надежды.

Никогда еще пассажира, плывущего третьим классом, не провожало столько народу. Вертун на прощание подарил Профессору свой нож. Педро шутил и смеялся, из кожи вон лез, чтобы всем было весело. Один только Большой Жоан не скрывал печали.

Педро долго махал вслед пароходу, и Профессор видел издали его берет. Оказавшись среди незнакомых людей, среди офицеров в мундирах с галунами, важных господ и нарядных дам, он вдруг оробел и растерялся. Отвага его осталась на берегу, но в груди горело пламя любви к свободе. Эта любовь заставит его забыть академические каноны своего учителя, написать картины, которые и восхитят всю страну, и ошеломят ее.

Прошла зима, прошло лето. Снова наступила зима — с затяжными дождями. Каждую ночь завывал за стенами пакгауза ветер.

Теперь Леденчик продает на улицах газеты, чистит башмаки, перетаскивает багаж туристов. Удастся кое-что заработать: он бросил воровство. И не ходит больше на промысел вместе с другими. Педро разрешил ему остаться в пакгаузе, хотя не очень-то понимает, что творится в душе Леденчика: знает только, что тот хочет сделаться священником, избежать уготованной им всем доли. Ну и что? Ничего это не изменит, не исправит в их жизни. Падре Жозе так старается помочь им стать людьми, но ведь он один как перст, а все остальные вовсе не считают, что он поступает правильно. Успеха можно добиться, только если все разом приналягут, как говорит старый докер Жоан де Адан.

А Леденчика звал Господь. По ночам мальчик явственно слышал его голос, — он звучал где-то внутри его существа, был могуч, как голос моря, как голос ветра, и, минуя разум, шел прямо в сердце. Голос звал его, обещал счастье, вселял ужас. Голос требовал его всего, целиком, безраздельно, а за это обещал ему счастье. Голос велел Леденчику служить Богу и был могуч, как рокот моря, как вой ветра. Леденчик посвятит себя Богу, он отвергнет все соблазны, он очистится от грехов, и за это Господь

явит ему свой божественный лик. Леденчик спасет свою душу, он раскается во всех своих прегрешениях, мир ничем больше не прельстит его: глаза его будут незрячи — только тогда смогут они лицезреть Бога. Тому, кто не сумел очиститься, лик Господа явится грозным, точно штормовое море. А тому, чьи помыслы чисты, чьи глаза не замутнены созерцанием непотребств, он предстанет кротким и ласковым, как морская гладь в солнечный тихий день.

Леденчик избран Богом. Но и жизнь в шайке тоже отметила его своей печатью. Он отрешается от свободы, отвергает радость видеть и слышать мир, он вытравит из своей души греховные помыслы, — Божий глас взывает к нему, и мощь этого зова ни с чем не сравнить. Затворившись от мира, Леденчик будет вымаливать прощения для «капитанов». Он должен следовать за голосом, позвавшим его. Когда он слышит его сквозь завывание зимнего ветра, лицо его преображается, точно пришла весна.

Падре Жозе Педро снова пригласили в канцелярию архиепископа. На этот раз каноник не один: вместе с ним — настоятель монастыря капуцинов. Падре дрожит, ожидая новых упреков: он и вправду часто преступал закон, помогая беспризорным мальчишкам, и, кажется, затея его провалилась: почти ничем не смог он улучшить и облегчить их жизнь. Но все же, все же иногда он вносил мир в их измученные души. И, кроме того, он завоевал Леденчика — Бог зачтет ему эту победу. Конечно, он сделал ничтожно мало, конечно, он не сумел изменить их судьбу, но битва не проиграна. Падре было одновременно и грустно и радостно: радостно — потому что не все его усилия пропали втуне, грустно — потому что добиться удалось немногого. «Капитаны» стали ему родными, он был им и отцом и матерью. Сейчас те, кого он знал совсем мальчишками, выросли. Профессор уже уехал, вскоре разлетятся кто куда и остальные. Они погрузятся в пучину греха, будут воровать и грабить, но все-таки иногда падре удавалось согреть их лаской и добрым словом, удавалось внушить, что все люди — братья...

Каноник, против ожидания, не бранит его. Он сообщает, что архиепископ решил дать ему приход:

— Вы, падре, доставили нам немало хлопот вашими бреднями относительно воспитания... Хочу надеяться, что вы оцените доброту его преосвященства, будете ревностно выполнять свой пастырский долг и позабудете пагубные советские новшества...

В приходе, который решился предоставить ему архиепископ, никогда не было священника: никто не соглашался ехать в захолустную деревеньку,

затерянную в глуши сертанов, где к тому же орудовали многочисленные банды. Однако падре Жозе Педро обрадовался, услышав название этого местечка. Он отправится к бандитам-кангасейро: это те же дети, только выросшие не по уму. Он поблагодарил и собирался уже откланяться, когда настоятель вдруг спросил:

— Сеньор каноник сказал мне, что среди детей, которых вы опекаете, один чувствует в себе призвание к священнослужению?

— Я как раз собирался сказать вам о нем, — ответил падре. — Мне никогда еще не доводилось видеть подобного рвения и пыла.

Монах улыбнулся:

— Нашей миссии пригодился бы такой послушник. Разумеется, капуцин — не совсем то же, что священник, но это довольно близко. Если призвание его истинно, наш орден мог бы впоследствии определить его в семинарию. Потом он принял бы пострижение.

— Да он с ума сойдет от радости!

— Вы ручаетесь за него, падре?

Леденчик станет послушником у капуцинов. Быть может, когда-нибудь он примет сан. Падре Жозе Педро выходит из канцелярии, обращая к Господу Богу слова благодарности.

Проводить падре собралась чуть ли не вся шайка. Свисток паровоза звучит жалобно. Жозе Педро с любовью всматривается в лица мальчишек.

— Мы вас не забудем, падре, — говорит Педро. — Вы к нам относились по-человечески. Вы — добрый...

«Капитаны» не сразу узнают Леденчика в монашеском одеянии, подпоясанном длинной веревкой.

— Представляю вам брата Франсиско из обители Святого Семейства.

Былые приятели разглядывают его смущенно. А Леденчик улыбается. Он похудел еще больше, совсем высох — настоящий отшельник. В длинной сутане он кажется выше ростом.

— Брат Франсиско будет молиться о вас... — говорит падре.

Он прощается с «капитанами», вскакивает на подножку вагона. В последний раз прогудел паровоз. Падре видит через оконное стекло, как машут ему мальчишки руками, шапками, драными шляпенками, тряпицами, заменяющими им носовые платки. Старушка соседка, нетерпеливо ожидающая отправления, чтобы поскорее завести разговор, с изумлением видит, что по щекам падре катятся слезы...

Долдон захаживает теперь в пакгауз только изредка. Он вырос,

раздался в плечах, сочиняет и распевает под гитару самбы. На улицах Бани много таких, как он: день-деньской он околачивается в порту или на рынке, а вечерами идет на праздник или на пирушку в Сидаде-да-Палья или на холм. Без него не обходится ни одна макумба: всюду он желанный гость, везде его кормят до отвала и поят допьяна. Он играет на гитаре, крутит любовь с хорошенькими мулатками, очарованными его песнями. Он не дурак и подрасться, а если от полиции житья нет, приходит в пакгауз, отсиживается там.

Он играет своим былым товарищам на гитаре, смеется вместе с ними. Кажется, что он по-прежнему — один из них. Но чем старше он становится, тем дальше он от «капитанов». Он превратится в одного из тех шалопаев, которые любят Баию больше всего на свете и жизни себе не представляют без ее улиц и переулков. Ему одинаково противны и богатство, и честный труд. Он любит музыку, застолье, праздники. Девчонки льнут к нему. Он драчун и забияка. Он знаток капоэйры и в совершенстве владеет ножом. Если очень уж будет нужно, может и стянуть что плохо лежит. У него доброе сердце — так говорится в АВС, которое Долдон сочинил про одного приятеля, точно такого же, как он сам. Он будет клясться своим возлюбленным, что скоро остепенится, возьмется за ум, пойдет работать, но всегда будет прежним, — беспечным и беспутным баиянцем. Новое поколение «капитанов» будет любить его и восхищаться им, как восхищаются нынешние Богумилом.

Прошло время. Однажды Педро с Безногим завернули в церковь Пьедаде полюбоваться золотой утварью и попытать счастья: вдруг удастся срезать сумочку у какой-нибудь погруженной в молитву святоши. Однако в тот час в церкви никого не было, кроме кучки ребятишек, которым монах-капуцин растолковывал катехизис.

— Гляди, это же Леденчик! — ахнул Безногий.

Педро взгляделся в монаха, пожал плечами:

— За что боролся, на то и напоролся...

— Не больно-то он растолстел на церковных хлебах, — сказал Безногий.

— Когда-нибудь он станет падре. К тому и шло...

— От доброты проку немного, — сказал Безногий.

И добавил, помолчав:

— Только ненавистью чего-нибудь добьешься.

Леденчик не видел их. Терпеливо и ласково объяснял он непоседливым мальчишкам азы вероучения. Покачав головой, приятели вышли из церкви. Педро положил руку на плечо Безногому:

— Дело не в доброте. И не в ненависти. Нужно бороться.

Смирение звучало в голосе Леденчика. Ненависть звенела в голосе Безногого. Но Педро не слышал ни того, ни другого — их заглушал голос старого грузчика Жоана де Адана, голос его отца, погибшего в борьбе.

## Стародевий роман

Кот сказал, что нашел выгодное дело. Есть одна старая дева, лет сорока пяти, вздорная и крикливая, собой страшна как смерть. Денег у нее куры не клюют, все комнаты заставлены золотыми и серебряными безделушками, полно фамильных бриллиантов и других драгоценностей, доставшихся ей в наследство. Педро подумал, что тут можно было бы урвать неплохой куш. Гонсалес, владелец ломбарда, наверняка раскошелится бы...

— Сможешь протыриться? — спросил Педро у Безногого.

— Ясное дело!

— Осмотришься — позовешь.

В пакгаузе раздался смех. Кот отправился к Далве.

— Завтра утром наведаюсь, — пообещал Безногий.

Дверь ему открыла сама хозяйка. У нее была только одна служанка — чернокожая старушка, жившая в этой семье лет пятьдесят и теперь как часть имущества перешедшая к наследнице рода. Хозяйка окинула Безногого взглядом, исполненным достоинства:

— Что тебе?

— Я бедный, искалеченный сирота, — тот вытянул вперед хроющую ногу. — Воровать совесть не позволяет, а просить Христа ради — стыдно... Нет ли у вас работы для меня? Я мог бы ходить за покупками...

Хозяйка не отрывала от него взгляда. Мальчишка... Взять его, что ли? В ней говорила не доброта, а вожделение. Скоро, совсем скоро плоть перестанет предъявлять свои требования: врачи говорят, что тогда и нервность ее исчезнет... Много лет назад — она была еще молода — у них в доме служил мальчик на побегушках... Как было хорошо... Но старший брат однажды накрыл их и выбросил мальчишку вон. Брата уже давно нет на свете, и вот на пороге стоит другой мальчишка...

— Ну, что ж...

Она впустила Безногого, велела ему вымыться. Потом дала денег на покупки и еще немного — чтобы раздобыл себе одежду поновей и почище. Безногий смухлевал и положил в карман тысячу двести рейсов.

«Тут можно будет кое-что скопить», — подумал он.

На кухне негритянка трещала без умолку, пересказывая семейные

предания. Безногий слушал, всячески выказывал внимание и интерес, ахал, переспрашивал; да, со старухой следовало завязать добрые отношения. Но когда он вскользь спросил про золото, служанка не ответила. Безногий не настаивал: всему свой черед. В делах такого рода главное — не пороть горячку, запастись терпением, уметь выждать. Дверь в гостиную была открыта: хозяйка плела кружева и время от времени поглядывала на мальчика. Лицом она и вправду была страшновата, но рыхлющее тело было еще привлекательным. Хозяйка подозвала Безногого показать ему свою работу и, когда он подошел, наклонилась так, что в вырезе платья мелькнули тяжелые груди. Безногий подумал, что это случайно, и похвалил кружево:

— Как здорово у вас получается, сеньора...

«Вот воспитанный мальчик», — подумала она. Несмотря на то что он миловидностью не отличался и к тому же сильно хромал, хозяйка нашла его хорошеньким. Конечно, лучше бы он был помладше... Да что ж поделаешь... Она снова наклонилась — снова качнулись груди. Безногий поспешно отвел глаза, чтоб не подумали, что он пялится куда не надо, но продолжал расхваливать кружева, и хозяйка, погладив его по щеке, томно сказала:

— Спасибо, мой мальчик.

Служанка втащила в комнату матрас, застелила его простыней, положила подушку. Хозяйка ушла к подруге, жившей на той же улице, а когда вернулась, Безногий уже лежал в постели. Он слышал, как она прощалась с кем-то:

— Вы уж извините, что пришлось провожать старую деву до дому...

— Побойтесь Бога, дона Жоана!..

Безногий слышал, как она вошла в переднюю, захлопнула дверь, повернула ключ в замке. Негритянка уже спала в своей клетушке возле кухни. Проходя через гостиную в спальню, хозяйка окинула Безногого долгим взглядом. Тот притворился спящим. Хозяйка вздохнула и ушла к себе.

Свет погас. Безногий, хоть и не привык ложиться так рано, скоро заснул.

Он не знал, в котором часу оказалась возле его постели хозяйка. Почувствовав сквозь сон, что кто-то гладит его по голове, подумал, что ему это снится. Рука скользнула на грудь, потом к животу. Безногий окончательно проснулся, но продолжал лежать с закрытыми глазами. Дона Жоана придвинулась к нему вплотную, приподняла подол ночной рубашки. Безногий хотел что-то сказать, но она зажала ему рот, кивнула в сторону

кухни:

— Могут услышать.

Потом прошептала:

— Ты меня приласкаешь, правда? И, прижавшись к нему, легла рядом.

Но когда Безногий захотел овладеть ею, отстранилась:

— Нет... Так я не хочу...

Эти детские забавы взбесили Безногого.

Хозяйка едва слышно постанывает. На ее пышной груди покоится голова мальчика, руки ее гладят его.

По утрам Безногий встает совсем разбитым. Все тело ноет. Каждую ночь ведет он сражения с хозяйкой, но выиграть их не может. Старая дева довольствуется крохами любви, жалким ее подобием: она боится забеременеть, боится скандала. А плоть ее требует своего и радуется даже малой малости. Безногий же хочет спать с нею; сопротивление доны Жоаны только злит его. Он готов возненавидеть хозяйку, но привык к ласкам, и тело ее влечет его, хотя, просыпаясь поутру, он испытывает к Жоане такую ненависть, что готов задушить ее в бессильной ярости. Но по ночам, ощущая рядом с собой ее пышную грудь, ее крутые бедра, начинает придумывать, как добиться своего. Но хозяйка всегда начеку: в последний момент она отстраняет его, шепотом бранит. Ярость охватывает Безногого, но рука Жоаны снова тянется к нему, и он не может противиться, и снова начинается бесплодная борьба, после которой он просыпается измученным и опустошенным.

Днем он отвечает Жоане сквозь зубы, грубит ей, может и обругать, и довести до слез, называет старухой и обещает завтра же уйти. А она умоляет остаться, дает ему денег. И Безногий остается, но не из-за денег: его неудержимо тянет, влечет ее тело. Он уже знает, каким ключом отпирается дверь в спальню, где хранятся драгоценности Жоаны, знает, как стянуть этот ключ и передать его «капитанам». Но тело хозяйки — ее груди, ее бедра, ее руки не дают ему уйти.

Ему всегда не везло с женщинами. Никто никогда не смотрел на него зазывно и ласково, а если удавалось подкараулить на пляже негритянку, то взять ее можно было только силой. Другие мальчишки были так же некрасивы, но Безногий, приволакивавший ногу, точно краб, внушал женщинам особенное отвращение. Вначале его это огорчало, потом он озлился и стал добиваться своего силой, собирая четверых-пятерых приятелей. И вот теперь появилась в его жизни белая женщина — немолодая и некрасивая, но все еще соблазнительная. Она залезает к нему в



постель, ласкает его, прижимает его голову к своей необъятной груди, и Безногий, становясь день ото дня все злее и нетерпеливее, не может уйти от нее. Он хочет обладать Жоаной, а ей довольно подобия любви, жалких ее крох.

Безногий ненавидит и ее, и себя, и весь мир. Так проходят дни за днями.

Педро Пуля торопит его: давно уж пора бы выведать все секреты этого дома. Безногий отвечает, что скоро расскажет о расположении комнат. В последнюю ночь схватка с хозяйкой особенно яростна. Хозяйка стонет в его объятиях, но честью своей поступиться не хочет. И тогда Безногий решается и исчезает, прихватив заветный ключ.

Дона Жоана ждет его. Дона Жоана чувствует себя брошенной и обманутой. Она плачет, она причитает. Ей тоже нужна любовь, как и всем этим нарядным и красивым девушкам, которых она видит из своего окна.

А обнаружив пропажу драгоценностей, она приходит в ярость и думает теперь, что Безногий проводил с нею ночи для того только, чтобы потом обокрасть. Она унижена, ее жажда любви осквернена. Ей плюнули в лицо и сказали: «Так тебе и надо, уродина!» Она плачет и стонет, но теперь уже не от наслаждения. Попадись ей сейчас Безногий, она задушила бы его собственными руками: он надсмеялся над ее любовью, он осквернил ее любовь. И несчастье ее особенно велико потому, что всю эту неделю она была совершенно счастлива. В истерике она чуть не катается по полу.

А в пакгаузе Безногий со смехом пересказывал свое приключение. Но в глубине души он чувствовал, что старая дева сделала его еще хуже, чем он был, что ее порочность усилила дремавшую в нем ненависть. Неутоленное желание мучает его по ночам. Неутоленное желание лишает его сна, приводит в бешенство.

## В товарном вагоне

Из Баии, из Аракажу, из Ресифе, даже из самого Рио-де-Жанейро прибывают в Ильеус суда с женщинами. Толстые полковники стоят на пирсе, выбирают себе по вкусу брюнеток, блондинок, мулаток. Какаовый бум охватил всю страну: в сравнительно небольшом городке Ильеусе открылись четыре кабаре сразу, полковники проводят ночи за картами и шампанским, прикуривая от пятисотенных бумажек, а по утрам вываливаются на улицы и устраивают шествия. Эти известия облетели кварталы красных фонарей в Баии, вездесущие коммивояжеры без устали рассказывали о том, что все женщины из кабаре Браммы в Аракажу перебрались в Ильеус, в кабаре «Эльдорадо», что все веселые девицы Ресифе погрузились на корабли компании «Бразильский Ллойд», что в Пернамбуко не осталось ни единой жрицы любви — все обосновались теперь в кабаре «Батаклан», которое студенты прозвали «Школой». Даже из Рио прибыли проститутки: они захватили «Трианон» — самое роскошное ночное заведение столицы какао, раньше носившее имя «Везувий». Даже Рита-Муравьиха, славившаяся размерами и упругостью зада, покинула тихую заводь в Эстансии, где она правила самовластно и безраздельно, даря свою благосклонность каждому, кто пожелает, и переехала в Ильеус, на улицу Сапо, в кабаре «Дальний Запад», — там звуки поцелуев и хлопанье откупориваемого шампанского перемежались револьверной пальбой, ором и криком. «Дальний Запад» стал излюбленным заведением десятников, управляющих, мелких помещиков, ставших вдруг богачами.

Обезлюдил квартал гулящих девиц в Бани, опустели их дома. Подруги Далвы ринулись в Ильеус — в «Батаклан», в «Эльдорадо», в «Дальний Запад». Иным удалось попасть даже в «Трианон», где они танцевали с полковниками. В кабаре «Батаклан» женщины из Пернамбуко и Сержипе зарабатывали столько, что могли поделиться барышами со студентами, вознаграждая их любовный пыл. «Эльдорадо» ломился от посетителей, даже в «Дальнем Западе» проститутки за свой труд получали бриллианты. Случалось, правда, что и пулю; на груди, точно диковинная брошь, появлялось кровавое пятно. Рита-Муравьиха отплясывала на столе чарльстон, — пенилось откупориваемое шампанское, гремели выстрелы. Все это было много лет тому назад, когда какаовая лихорадка была в разгаре.

Когда же Далва узнала, что ее подруга Изабел добыла себе пару коле и бриллиантовый перстень — и притом даже не в «Трианоне», а всего лишь в «Батаклане», — сердце ее дрогнуло. Она стала собирать чемоданы. Она поняла, что путь ей, красивейшей из проституток Баии, лежит в кабаре «Трианон». Коту был сшит элегантнейший кашемировый костюм, и, надев его, он преобразился: был мальчик, а стал самый настоящий хлыщ, хлыщ, только очень молоденький.

Вечером во всем своем великолепии — новый костюм, черные лакированные башмаки, галстук бабочкой, шляпа из рисовой соломки — он появился в пакгаузе, и Большой Жоан только ахнул, увидев его:

— Ты ли это, Кот?

А Коту не было еще и восемнадцати лет, и уже четыре года путался он с Далвой.

— Вот теперь заживем!.. — воскликнул он.

Открыл дорогой портсигар, предложил приятелям закурить, пригладил модно подстриженные волосы, хлопнул по плечу Педро:

— Уезжаю в Ильеус, не поминайте лихом! С моей бабой не пропадешь. Заработаю кучу денег, стану фазендейро, выпишу вас к себе — вот тогда повеселимся на славу!

Педро улыбнулся в ответ. Вот и этот уходит... Мальчишки вырастают, они рвутся из пакгауза... Он знал, что все они и раньше были не очень-то похожи на детей своего возраста: ежедневный риск, жизнь на улице рано сделали их взрослыми. Они ничем не отличались от настоящих мужчин — разве что ростом. А так разницы никакой: «капитаны» с малолетства подстерегали на пляже неосторожных негритянских девчонок, воровали и грабили, добывая себе на пропитание. И в полиции их лупили, не делая скидки на юные годы. Случалось им устраивать и вооруженные нападения, оружием они владели не хуже самых отпетых баиянских бандитов. И разговоры у них были не детские, и жизнь они воспринимали совсем по-другому. Дети их возраста играли и учились читать по складам, а они решали такие проблемы, которые под силу только взрослому, опытному человеку. Нищая и бурная жизнь не давала им оставаться детьми. У ребенка есть дом, ребенка окружают родные любящие люди — отец и мать, ребенок ни за что не отвечает. А у «капитанов» никогда не было родителей, и жили они на улице, и должны были заботиться о себе сами, и сами за себя отвечали. Они всегда были взрослыми. И вот теперь пришло время самым старшим, тем, кто верховодил в шайке, выбирать себе судьбу, идти своим путем. Ушел Профессор — теперь он пишет картины в Рио-де-Жанейро. Все реже показывается в «норке» Долдон: он играет на гитаре на

праздниках и пирушках, ходит на кандомбле, устраивает потасовки на ярмарках, он примкнул к многочисленному племени веселых баианских прощелыг. Имя его уже замелькало на страницах газет. Полиция зорко присматривается к этим бродягам. Леденчик — послушник в монастыре, к нему воззвал Божий глас, и вряд ли теперь пересечется его дорога с дорогой «капитанов». Уходит Кот: он будет облапошивать полковников Ильеуса. Богумил сказал как-то раз, что Кот когда-нибудь разбогатеет. Беспризорная жизнь научила его и нечистой игре в карты, и ловкому мошенничеству, и искусству Жиголо. Скоро, скоро разбредутся кто куда и остальные... И только он, их вожак и атаман Педро Пуля, не знает, что ему делать. Он уже взрослый, надо подыскивать себе преемника. Что ждет его? Он не наделен талантом, как Профессор, который появился на свет, только чтобы рисовать и писать. Он не рожден перекасти-полем, как Долдон, который и знать не хочет ежедневной борьбы людей за кусок хлеба, ему бы только бродить по улицам Баии, точить лясы, бренчать на гитаре, пить и есть на даровщину... Педро мало этого: жажду свободы, живущую в его душе, не утолить этой вольной волей. И Господь не воззвал к нему, как к Леденчику: для него все проповеди падре Жозе Педро — звук пустой, хотя он любит священника за доброту и честность. И только слова старого грузчика Жоана де Адана находят путь к его сердцу. Но и он знает так мало... Что у него есть? Могучие ручки да зычный голос, который, если надо устроить очередную забастовку, может звучать ласково и дружелюбно... Ясно одно: с Котом ему не по дороге, он не поедет в Ильеус, чтобы облапошивать полковников. Он сам еще не знает, чего хочет, и только это не дает ему покинуть старый пакгауз.

А «капитаны» восторженными воплями провожают Кота, и тот, элегантный, как на картинке, поправляет прическу, и на пальце у него посверкивает давным-давно украденный в трамвае перстень с камнем винно-красного цвета...

Стоя на причале, Педро машет вслед уплывающему Коту. Как далеки они друг от друга: оборванный паренек с беретом в руке — и Кот, стоящий рядом с Далвой в изящной, с иголки кашемировой паре. Он кажется совсем взрослым. У Педро на душе смутно и тревожно: хочется убежать куда-нибудь, подняться на палубу какого-нибудь корабля или вскочить на подножку вагона, умчаться неведомо куда...

Но умчался не он, а Вертун. Однажды вечером полиция взяла его на месте преступления: он вытряхивал из какого-то коммерсанта его бумажник. Вертуна приволокли в полицию и жестоко избили, потому что он покрыл и агентов, и инспекторов отборной бранью, держась с

вызывающим презрением, как и подобает истинному сертанцу. Ему было всего шестнадцать лет, а потому, продержав недельку за решеткой, его отпустили. Вертун вышел на свободу. Он был почти счастлив. В жизни появилась цель: убивать полицейских, — чем больше, тем лучше.

Несколько дней он просидел в пакгаузе, угрюмо размышляя о чем-то — его звали сертаны, вольная разбойная жизнь, — а потом сказал Педро:

— Переберусь-ка я к «Индейцам Малокейро».

В Аракажу эта шайка была то же, что «капитаны» — в Баии. Члены ее ночевали под причалами, воровали на улицах, шарили по карманам. Инспектор по делам несовершеннолетних Олимпио Мендоса был человеком добродушным и добросовестным: он пытался разобраться в присылаемых ему делах, становясь в тупик перед изобретательностью и отвагой мальчишек, которые заткнули бы за пояс любого взрослого, но понимал, что решить эту проблему невозможно. Он рассказывал об их приключениях писателям, он даже любил их, хоть и самому себе не решился бы в этом сознаться, и горевал, потому что ничего не мог для них сделать. Когда в шайке появлялся новичок, инспектор знал, что он приехал из Баии — скорей всего, на тормозной площадке последнего вагона. Если кто-то исчезал из Аракажу, инспектор знал, что «индеец» перебрался в Баию и стал «капитаном».

...Ранним утром на станции Калсада свистнул паровоз, прибывший из Сержипе. Никто не знал, что поезд этот привез Вертуна: какое-то время он пробыл в Аракажу, чтобы приметившая его баийнская полиция забыла о нем, и вот теперь юркнул в вагон, груженный тяжелыми тюками. Вскоре поезд тронулся.

Вертун едет по сертанам. Возле глинобитных домиков возятся женщины, играют дети. Ковыряются в земле полуголые мужчины. По проселку, тянущемуся вдоль железнодорожного полотна, гонят гурты скота; покрикивают, подгоняя быков, пастухи-вакейро. На станциях продают сласти. Вертун жадно впитывает краски и запахи сертанов. На лотках лежат головки сыра и плитки тростникового сахара-рападуры. Снова перед его глазами — картины дикой природы. Он не забыл этот край. Годы, проведенные в городе, не вытравили любви к этой убогой и прекрасной земле. Вертун так и не стал горожанином вроде Педро, Долдона, Кота, — и в городской толчее остался он сертанцем, со своим особым выговором, со своим искусством подражать голосам зверей и птиц. Всем и каждому рассказывал он о своем крестном — о знаменитом разбойнике Лампиане. Когда-то у них с матерью был свой клочок земли, и полковники-фазендейро опасались связываться с кумой грозного бандита. Но потом Лампиан

перекочевал в штат Пернамбуко, и мать Вертуна лишилась своего скудного достояния. Она отправилась в город за справедливостью, по дороге умерла, и Вертун, угрюмый и хмурый мальчишка, дошел до Баии один. Он попал в шайку «капитанов», многому научился, многое познал и понял. Оказалось, что и в городе хватает богатых подлецов, обирающих бедных, есть и бездомные, нищие дети, которых преследуют и мучают богачи... На лице Вертуна иногда появлялась улыбка, но ненависти он не разучился. Он познакомился с падре Жозе Педро и понял, почему Лампиан не обижал священников. Вертун и раньше восхищался Лампианом, а после того, как пожил в городе и ненависть его окрепла, стал ему поклоняться. Он не сравнивал его даже с Педро Пулей.

И вот он в сертанах. Он вдыхает аромат сертанских цветов. Здесь каждая птица, каждая травинка дороги ему, любимы, знакомы. У порогов лежат тощие псы. Старики похожи на индейских касиков, а негры носят на шее длинные четки. Как славно пахнет свежеспеченным кукурузным хлебом и маниоковой кашей! Исхудалые люди бьются на скудной земле, чтобы получить гроши от тех, кому эта земля принадлежит. Только каатинга принадлежит всем, — всем и никому. Лампиан освободил ее, очистил ее, изгнал из нее богачей, сделал ее вотчиной тех, которые сражаются с помещиками. На территории пяти сопредельных штатов раскинулись сертаны, и всюду люди славят Лампиана — героя и освободителя. Пусть говорят про него, что он — преступник, душегуб, насильник, убийца, грабитель. Вертун, так же как все обитатели сертанов, видит в нем нового Зумби из Палмареса, освободителя, вождя нового, невиданного воинства. Свобода — как солнце, лучше свободы ничего нет на свете, и за свободу сражается Лампиан, во имя ее он убивает, насилует, грабит. Он добивается свободы и справедливости для жителей сертанов, раскинувшихся на территории пяти сопредельных штатов — Параиба, Алагоаса, Пернамбуко, Сержипе, Баии.

Вертун взволнованно и растроганно смотрит по сторонам. Поезд медленно ползет, вспарывая зеленую гладь. Все здесь исполнено поэзии, все обыденно и все прекрасно. Только нищета, в которой живут обитатели этого края, ужасает. Но здешние люди — крутого замеса, они и в этой нищете могут создать красоту, — и они создадут ее, как только Лампиан освободит эту землю, когда справедливость и свобода воцарятся в каатинге.

Через неплотно задвинутую дверь вагона видит Вертун бродячих музыкантов, вакейро, подгоняющих своих быков, крестьян, работающих на скудных наделах, где растут кукуруза и маниока. Когда поезд останавливается, полковники с огромными револьверами на боку выходят

размять ноги. Слепые гитаристы услаждают их слух романсами, ждут подачки. Негр в рубище с четками на шее бежит по платформе, выкрикивая непонятные слова: раньше он был рабом, потом сошел с ума, кормится чем придется тут, на станции. Все боятся его, особенно если он начинает пророчествовать и предрекать беды. Он немало выстрадал, — бич надсмотрщика всласть погулял у него по спине. А кто хлестал Вертуна? — Полиция, надсмотрщик богачей. Придет день, когда он будет внушать такой же страх, как и этот негр.

Мягко постукивая на стыках рельсов, движется поезд; одуряюще пахнут неведомые сертанские цветы; люди ходят в сандалиях, носят кожаные шляпы. Дети, которые станут потом бандитами-кангасейро, проходят здесь школу нищеты и угнетения.

Внезапно поезд останавливается. Вертун высовывается из вагона: разбойники навели на пассажиров ружья; возле колеи стоит их грузовик. Безжизненно свисают со столбов перерезанные телеграфные провода. Вокруг, насколько хватает взгляд — только дикая каатинга. Барышня в одном из купе падает в обморок. Коммивояжер прячет бумажник. Толстый полковник выходит из вагона:

— Капитан Виргулино...

Бандит в очках вскидывает карабин:

— Назад!

Вертуну кажется, что от радости сердце его сейчас выпрыгнет из груди. Он встретил своего крестного, героя всех сертанских мальчишек, он нашел Виргулино Феррейру Лампиана. Он пробирается поближе, кто-то из бандитов хочет оттолкнуть его, но он кричит:

— Крестный!

— Ты кто такой? — спрашивает Лампиан.

— Я — Вертун, твой крестник.

Лампиан узнает мальчишку, улыбается. Люди его — их не очень много, не больше дюжины — тем временем обшаривают вагоны первого класса.

— Крестный, возьми меня с собой. Дай мне ружье!

— Мал еще, — отвечает тот, поглядев на него через темные очки.

— Я уже большой! Я уже дрался с солдатами...

Лампиан смеется:

— Зе, ну-ка, дай ему карабин, — и переводит взгляд на крестника: — Следи за этой дверью. Если кто попробует выскочить — стреляй.

Он вскакивает на подножку, исчезает в дверях вагона. Оттуда доносятся вопли и крики. Грохочет выстрел. Наружу выволакивают двоих

полицейских. Лампиан отдает каждому бандиту его долю добычи, не забыв и Вертуна. Со ступенек вагона на землю льется кровь. От сладостного запаха сертанов раздуваются ноздри Вертуна. Полицейских ставят к деревьям, Зе-Баиянец уже поднимает винтовку, но в эту минуту слышится умоляющий голос:

— Крестный, можно мне?.. Такие, как эти двое, били меня в полиции, когда я был еще малолеткой...

Он вскидывает карабин, — жители сертанов сызмальства обладают верным глазом и твердой рукой.

На угрюмом лице его — радостная улыбка. Радость переполняет его. Один полицейский валится наземь, другой бросается бежать, но пуля ударяет ему между лопаток, и он тоже падает. Вертун наклоняется над трупами с ножом в руке: изуродовав их, он насытился мстью.

— Ничего паренек, подходящий... — говорит Зе-Баиянец.

— Его мамаша, моя кума, ох бойкая была баба... — горделиво вспоминает Лампиан.

«Вот звереньш!» — думает коммивояжер. Кондукторы сбрасывают с рельсов бревна, наваленные бандитами, чтобы остановить паровоз. Поезд трогается. Лампиан и его люди скрываются в зарослях каатинги. Вертун жадно вдыхает воздух сертанов и острием ножа делает на ложе своего карабина две зарубки. Две первые зарубки... Издали доносится заунывный гудок паровоза.



## Сальто-мортале

Да, грабить этот дом на улице Руя Барбозы было чистейшим безрассудством: совсем рядом, на площади, не продохнуть от полицейских, агентов, инспекторов. Но «капитаны» стремительно выросли, становились все более дерзкими: жажда приключений не давала им покоя. В доме оказались люди, они подняли тревогу, подросли полицейские. Педро Пуля и Большой Жоан успели выскочить и понеслись по спуску Праса. Барандан ринулся в противоположную сторону, и только Безногий, отвлекая агентов на себя, оказался на улице, запруженной народом. Полицейские бросились за ним вдогонку, решив, что уж этого-то хромого они схватят наверняка. Безногий мчался зигзагами, но те не отставали. Безногий сделал вид, что хочет выскочить с противоположного конца улицы, а потом, резко остановившись (разогнавшийся преследователь проскочил дальше), кинулся в переулок, а оттуда побежал не вниз, на Байша-дос-Сапатеирос, а вверх, к Праса-до-Паласио: он знал, что иначе его догонят непременно: ноги у полицейских были длиннее. И ему, хромоту, далеко не уйти. Он не дастся им. Он помнит, как обошлись с ним когда-то в участке, — тот арест до сих пор мучает его в кошмарных снах. Нет, больше они его не схватят, — бьется в нем единственная мысль. Полицейские несутся за ним по пятам. Безногий знает, что они будут из кожи вон лезть, чтобы схватить его, поимка «капитана» — дело нешуточное, это пахнет наградой и повышением по службе. Так вот же не будет по-вашему! Они его не возьмут, пальцем не притронутся. Он отомстит им. Он ненавидит их, как и весь мир, потому что мир к нему жесток. А когда случилось так, что люди отнеслись к нему ласково и любовно, пришлось бежать от них, потому что гнусная жизнь уже отметила его печатью порока. Не знал Безногий детства. Десяти лет от роду стал он взрослым, а иначе не выдержал бы изнурительной борьбы за жизнь — скудную и трудную жизнь безпризорника. Никогда не мог он полюбить ни одно живое существо, кроме этой собачонки, которая и сейчас бежит за ним. Души детей чисты, а его душа обезображена ненавистью. Он ненавидит этот город, эту жизнь, этих людей. Он любит только свою ненависть — она придает ему отваги и сил, заставляет забыть об увечье. Один-единственный раз с ним по-матерински нежна была женщина, и то потому, что он напомнил ей умершего сына: в нем, в Безногом, она любила своего навеки потерянного

Аугусто. А другая ложилась к нему в постель, ласкала его, создавая жалкое подобие любви, в которой отказала ей судьба. Никто и никогда не любил его таким, каков он есть на самом деле, — бездомный, искалеченный, несчастный. Все, кого он встречал в жизни, ненавидели его. И он ненавидел их всех. Однажды он попал в полицию, его там били, а человек в сером жилете с сигарой в зубах смеялся, глядя на его муки... Сейчас Безногому кажется, что это он гонится за ним, он, а не постовые полицейские... Если его схватят, он опять будет хохотать... Но его не схватят! Он слышит за спиной их дыхание, но они его не возьмут, нет! Дудки! Они думают, что он остановится, добежав до подъемника. Нет. Безногий вспрыгивает на невысокий парапет и, обернувшись к нагоняющим его полицейским, которые уже готовы схватить его, плюет в лицо тому, кто ближе, вложив в этот плевок всю свою ненависть. А потом, точно цирковой акробат, прыгает вниз.

На мгновение площадь замирает. «Убился», — говорит, побледнев, какая-то женщина. Точно цирковой акробат, не поймавший под куполом никелированный поручень трапеции, падает Безногий на камни мостовой. Просунув морду сквозь прутья решетки, воет собака.

## Газетная хроника

Газета «Жорнал да Тарде» поместила телеграмму своего столичного корреспондента, описывавшего беспримерный успех, который выпал на долю юного и до сей поры безвестного живописца, впервые выставившего свои произведения. Через несколько дней «Жорнал да Тарде» перепечатала из какой-то столичной газеты статью критика. Юный художник был уроженцем Баии, что весьма польстило патриотизму редактора, ревниво следившего за славой родного штата. Критик, рассуждая о достоинствах и недостатках художника, о «свете», «воздухе», «колорите», «гамме теплых тонов», «изобразительном решении» и прочем, писал:

А потом опять начиналась искусствоведческая невнятица. Прошло несколько месяцев, и в газете появилась статья под заголовком:

### **Бойтесь данайцев...**

#### **Полиция города Белмонте возвращает баиянским властям мошенника, известного под кличкой Кот**

*Похоже, полиция Белмонте по воле своих коллег из Ильеуса оказалась в роли троянцев: завоевавший несмотря на свою молодость печальную известность мошенник Кот осуществил ряд махинаций и поживился за счет многих крупных помещиков и коммерсантов в Ильеусе, после чего переехал в Белмонте, где продолжил свою предосудительную деятельность. Он продавал земельные угодья, согласно его словам «весьма подходящие для выращивания какао». Когда же новые землевладельцы захотели осмотреть места будущих плантаций, то обнаружили, что все они находятся в русле реки Кашоэйра. Полиция Белмонте задержала Кота и выдворила из Белмонте.*

*Жители Ильеуса, бесспорно, богаче нас, им легча обеспечивать необходимый столь взыскательному и*

*рафинированному гостю комфорт, чем нам, жителям прекрасного Белмонте, ибо если наш город именуют жемчужиной юга, то Ильеус, по справедливости, — настоящий бриллиант».*

В полицейской хронике в числе происшествий, не заслуживающих особого внимания, рассказывалось, что полиция разыскивает некоего Долдона, который во время ярмарочного гулянья устроил драку и пивной бутылкой проломил череп владельцу одной из палаток.

Незадолго до Рождества страницы «Жорнал да Тарде» запестрели огромными заголовками. Сенсацию можно было сравнить только с той, которую вызвала некогда статья о любовнице Лампиана, наравне с мужчинами принимавшей участие во всех набегах его шайки. Интерес читателей можно было понять: жители тяти штатов — Баии, Сержипе, Алагоаса, Парайба и Пернамбуко — затаив дыхание следили за приключениями грозного бандита. Одни его ненавидели, другие обожали, но равнодушным не оставался никто. Аршинными буквами «шапка» сообщала о том, что

### **Сподвижник Лампиана — 16-летний подросток**

Заголовки были набраны чуть помельче:

Один из самых ужасных злодеев — тридцать пять зарубок на прикладе — он принадлежал к шайке «Капитаны песка» — Машадан погиб по его вине

Дальше пространно повествовалось о том, что жители деревень, подвергшихся налетам Лампиана, уже давно заметили среди бандитов мальчика лет шестнадцати по кличке Вертун. Несмотря на юные годы, он наводил страх на сертаны и славился своей жестокостью. На прикладе его карабина было обнаружено тридцать пять зарубок — по числу жертв. После этого газета рассказывала историю гибели Машадана, одного из

самых старых сподвижников Лампиана.

Однажды бандиты захватили на шоссе пожилого сержанта полиции. Лампиан поручил Вертуну прикончить его, и мальчик с видимым наслаждением стал мучить свою жертву, медленно и неглубоко вонзая в тело сержанта клинок. Ужаснувшись такой жестокости, Машадан поднял ружье с тем, чтобы застрелить Вертуна, но Лампиан, гордившийся своим любимцем, успел выстрелить первым и убил Машадана. Вертун же продолжал пытку.

В статье пересказывались и другие преступления шестнадцатилетнего бандита. Потом журналист, вспомнив, что в шайке беспризорных мальчишек «Капитаны песка» был паренек, кличка которого тоже была Вертун, спрашивал, не тот ли это самый, и пускался в рассуждения об упадке нравов.

Весь тираж газеты разошелся мгновенно. Через несколько месяцев «Жорнал да Тарде» преподнесла своим читателям новую сенсацию, известив об аресте Вертуна. Отряду конной полиции, рыскавшему по сертанам в поисках Лампиана, удалось схватить Вертуна спящим. Газета объявила, что завтра юного бандита доставят в Баию, и поместила его фотографию: с газетных страниц глядело на читателей угрюмое лицо Вертуна — «лицо прирожденного преступника», как писала газета.

Но прошло время, и в специальных выпусках, освещавших ход процесса над Вертуном (суд, предъявив ему обвинение в доказанном и подтвержденном свидетелями убийстве пятнадцати человек, приговорил его к тридцати годам тюрьмы), газета, сообщив о том, что на прикладе обнаружили не тридцать пять, а шестьдесят зарубок — каждая из них означала убитого человека, — сама опровергла свое мнение о «врожденной преступности». Газета поместила выдержки из заключения судебно-медицинского эксперта, который славился своей неподкупной честностью и обширными познаниями и уже в то время был одним из виднейших социологов и этнографов Бразилии. Эксперт доказывал, что в психике Вертуна нет патологии и что он стал бандитом, с такой изощренной жестокостью убившим так много людей, вовсе не от врожденной тяги к насилию. Эксперт объяснял все влиянием преступной среды... Далее следовали ученые рассуждения.

Однако его выводы вызвали у читателей куда меньше интереса, чем прочувствованная, яркая, блиставшая красотами слога речь господина прокурора: он живописал мучения, которым подвергал свои жертвы юный кровопийца; в зале суда рыдали, прослезился и сам председатель.

Ко всеобщему негодованию, обвиняемый не плакал. Его мрачное лицо выражало какое-то странное спокойствие.

## Товарищи

В городе происходит что-то новое. Педро Пуля вместе с Большим Жоаном и Баранданом вышел из пакгауза. Порт опустел: никого, кроме полицейских, охраняющих большие склады. Не становятся под разгрузку корабли: докеры во главе с Жоаном де Аданом объявили о своей солидарности с забастовавшими служащими трамвайной компании. Кажется, что в городе — праздник, только какой-то особый, непохожий на другие: люди собираются кучками, с жаром что-то обсуждают, взад-вперед снуют автомобили, из магазинов выглядывают смеющиеся лица продавцов; вся Ладейра-да-Монтанья запружена народом: кто вверх, кто вниз — на своих на двоих, потому что подъемник не работает. Забастовщики молча идут к зданию профсоюзного центра, чтобы огласить свой манифест, — лист бумаги зажат в огромной ручище грузчика Жоана де Адана. У входа, охраняемого солдатами, стоят, оживленно переговариваясь, люди.

— Лихо... — произносит Педро, поглядев на все это.

Большой Жоан улыбается, негритенок Барандан отвечает:

— Кажется, сегодня будет заваруха.

— Я бы ни за что не пошел ни в кондукторы, ни в вагоновожатые. Получают сущие гроши. Правильно сделали, что забастовали, — говорит Большой Жоан.

— Поглядим? — предлагает Педро.

Они протискиваются поближе к дверям. Туда идут люди — белые, негры, мулаты, португальцы, испанцы. Когда появляются грузчики во главе с Жоаном де Аданом, трамвайщики встречают их приветственными криками. Трое приятелей тоже кричат «ура!»: Жоан и Барандан — потому, что любят старого докера, а Педро — еще и потому, что ему нравится это зрелище: забастовка кажется ему похожей на какую-нибудь лихую и дерзкую затею «капитанов».

Группа хорошо одетых мужчин входит в здание профцентра. Стоя в дверях, мальчишки слышат чью-то длинную речь, прерываемую выкриками: «Желтые! Продажные твари! Штрейкбрехеры!»

— Лихо... — повторяет Педро.

Ему хочется войти туда, смешаться с толпой забастовщиков, вторить их крикам, бороться за них и вместе с ними.

Город засыпает рано. На небо выплывает луна, с палубы баркаса

доносится тоскующий голос: должно быть, какой-нибудь негр поет о том, как печально ему живется — возлюбленная его покинула. В пакгаузе малыши уже заснули, и Большой Жоан похрапывает на полу, положив нож так, чтобы сразу можно было дотянуться. Один только Педро, растянувшись на песке, глядит на луну, слушает жалобы покинутого любовника. Ветер доносит обрывки фраз. Педро шарит глазами по небу, отыскивая среди звезд Дору — Дору, превратившуюся в невиданную звезду с длинной золотистой гривой. У тех, кто не знает страха, в сердце — звезда. Но никто еще не слышал, чтобы звезда эта диковинным цветком распускалась в груди женщины. Отважные женщины Баии — те, кто ходил по ее земле и плавал по ее морю — после смерти становятся святыми, в их честь устраивают кандомбле: так произошло с Розой Палмейрао, о которой поют во время радений на языке наго. Так случилось и с Марией Кабасу — в квартале Итабуна, где впервые доказала она свою храбрость, звучат в ее честь кантиги. И Роза и Мария были высоки ростом, крепки и сильны, и руки у них были мускулистые, как у тех забастовщиков, которых Педро видел сегодня у профцентра. Роза Палмейрао была красива, ходила вразвалку, точно под ногами у нее всегда покачивалась зыбкая палуба ее баркаса, на котором бороздила она воды баианской бухты. Люди любили ее не только за храбрость, но и за красоту. А Мария Кабасу, темнокожая дочь негра и индеанки, была тучной, уродливой, злонравной, могла и отколотить попавшего под горячую руку мужчину. Но и ей случалось отдаваться какому-нибудь щуплому, с желтоватым отливом кожи парню из Сеара, и он любил ее, точно красавицу с точеным телом и призывным взглядом. Обе они славились своей отвагой, обеим воздают хвалу на кандомбле, которые устраиваются мулатами и которые отличаются от строгих негритянских радений тем, что на них появляются новые святые. А Дора была отважней и Розы, и Марии Кабасу: она, совсем еще девочка, делила с «капитанами» все опасности и тяготы, а ведь всякий знает: испытания, выпадающие на их долю, по плечу только сильному и храброму мужчине. Дора жила в их шайке, Дора была им всем матерью. И матерью и сестрой: она вместе с ними носилась по улицам Баии, забиралась в окна богатых особняков, воровала бумажники у зазевавшихся прохожих. Она наравне с мальчишками дралась против Эзекиела и его дружков. А потом стала Педро невестой и женой. Это случилось в ту тихую ночь, когда горячка сжигала ее тело, когда смерть подобралась к ней вплотную. Покой, сиявший в ее глазах, непостижимо передался окружавшей их ночи... Дора попала в приют и сбежала оттуда, как сбежал из колонии он, Педро Пуля. У Доры хватило мужества утешить перед смертью «капитанов» — своих сыновей,



братьев, друзей — и своего мужа Педро Пулю. Матушка Анинья завернула ее в белое кружевное покрывало, вышитое точно в честь святого; рыбак Богумил взял ее тело на борт своего баркаса, похоронил в пучине моря, во владениях богини Иеманжи; падре Жозе Педро помолился за упокой ее души. Не было человека, который не любил бы ее, но один лишь Педро хотел последовать за нею туда, откуда нет возврата. После ее ухода покинул старый пакгауз Профессор — ему там стало невыносимо. Но один лишь Педро бросился в море, чтобы разделить с Дорой ее судьбу, чтобы не оставить одну на том неведомом пути, по которому Иеманжа ведет отважные души в зеленую пучину моря. И потому ему одному дано было увидеть, как Дора, обернувшись звездой с золотистой гривой, скользит по ночному небосводу; она явилась только Педро, только ему одному. Когда он уже совсем ослабел и приготовился к смерти, звезда, засияв у него над головой, придала ему новых сил, и тут возвращавшийся в гавань баркас Богумила подобрал его. Сейчас Педро ищет на небе звезду с длинной золотистой гривой, звезду, не похожую ни на какую другую, как непохожа была ни на кого на свете Дора. Не было на свете женщины, подобной этой девочке... Небо все в звездах, звезды плещутся в морских волнах, и кажется, что тоскующий голос певца, оплакивающего утерянную любовь, взывает к ним, жалуясь и плача. И он тоже отыскивает любовь, сгинувшую в баиянской ночи.

Педро думает, что звезда, в которую превратилась Дора, катится сейчас над улицами и переулками Бани, отыскивает его, гадая, какую новую затею придумали «капитаны». Нет, то, что происходит сейчас в городе, придумано не беспризорными мальчишками: это кондукторы и вагоновожатые, крепкие негры, веселые мулаты, испанцы и португальцы, приплывшие сюда Бог знает из какой дали, взметнули к небу кулаки и крикнули, громко и весело, как беспризорные баиянские мальчишки.

Забастовка гуляет по городу! Лихая и прекрасная штука — забастовка, лучшее из приключений. И Педро хочется участвовать в ней, кричать и перебивать ораторов. Его отец тоже был забастовщиком: его застрелили в ту минуту, когда он говорил речь, и в жилах Педро течет кровь крамольника и смутьяна. Вольная жизнь на улицах научила его любить свободу. Арестанты в тюремной камере пели о том, что свобода — как солнце: это величайшее благо всякого, кто живет на земле. Забастовщики борются за свободу: чтоб есть немного сытнее, чтобы дышать немного вольнее. Борьба их — точно праздник.

В песках появляются чьи-то силуэты, и Педро настороженно приподнимается. Но сразу же узнает огромную фигуру грузчика Жоана де

Адана. Рядом с ним — какой-то юноша. Хорошо одет, только волосы взлохмачены и растрепаны. Педро сдергивает с головы шапку.

— Слышал, Жоан, как мы тебе «ура» кричали?

Старый докер смеется. Крутые мускулистые плечи туго натягивают рубаху, на лице сияет улыбка.

— Капитан Педро, познакомься. Это товарищ Алберто.

Педро сначала вытирает ладонь о полу драного пиджака и лишь затем пожимает протянутую ему руку.

— Студент, в университете учится, но он с нами и за нас, — объясняет Жоан.

Педро смотрит на нового знакомого без недоверия. Студент улыбается.

— Наслышан, наслышан о тебе и твоих ребятах. Вы — молодцы.

— Что ж, мы не робкого десятка... — отвечает Педро.

Старый докер подходит вплотную:

— Вот что, Педро, надо бы потолковать... Дело у нас есть к тебе, серьезное дело. Вот товарищ Алберто...

— Пойдем в «норку», — приглашает Педро.

Когда они входят в пакгауз. Большой Жоан, спавший на пороге, просыпается и, приняв хорошо одетого незнакомца за шпика, неуловимым стремительным движением хватает нож. Педро успевает остановить его:

— Это свой. Товарищ Жоана. Пошли с нами.

Вчетвером садятся они в угол пакгауза. Кое-кто из мальчишек просыпается, смотрит на них. Студент обводит взглядом пакгауз, фигуры спящих на полу детей. Зябко передергивается, словно от порыва холодного ветра.

— Какой ужас!

Но Педро, не слыша его, увлеченно говорит грузчику:

— Как это здорово — забастовка! В жизни ничего лучше не видал!

Прямо как праздник...

— Это и есть праздник, — говорит студент. — Праздник бедняков.

Голос его звучит мягко и доброжелательно и зачаровывает Педро, как песня, доносящаяся с баркаса.

— У меня ведь отца убили во время забастовки. Спросите Жоана, он вам расскажет...

— Это славная смерть, — отвечает студент. — Он пал за дело своего класса. Разве не так?

Оказывается, ему известно имя его отца. Оказывается, все его знают. Оказывается, он был вожаком докеров. Он героически пал за дело своего класса во время забастовки — праздника бедняков.

— Так ты, значит, считаешь, что забастовка — хорошее дело? — слышит Педро дружелюбный голос студента.

— Ты не знаешь, какие это золотые ребята! — восклицает Жоан де Адан. — А уж о Педро и говорить нечего! Он — настоящий товарищ!

Товарищ... Товарищ... Педро кажется, что нет на свете слова прекрасней. Так звучало в устах Доры слово «брат».

— Вот что, товарищ Педро, нам нужна твоя помощь — твоя и всех «капитанов», — говорит студент.

— А что надо делать? — с любопытством спрашивает негр.

Педро представляет его студенту:

— Познакомьтесь. Большой Жоан. Замечательный парень, лучше не бывает.

Студент протягивает негру руку, и тот после секундного замешательства — дело непривычное — смущенно отвечает на пожатие.

— Вы молодцы... — снова произносит студент, а потом спрашивает с неподдельным интересом: — Это правда, что Вертун раньше был с вами?

— Правда, — отвечает Педро. — И мы его вытащим из каталажки, будьте покойны.

Студент смотрит на него изумленно, потом снова окидывает взглядом пакгауз. Жоан де Адан выразительно разводит руками: «Что я тебе говорил?»

— Помощь нужна забастовщикам? — нетерпеливо спрашивает Педро.

— Ну, если и так?..

— Тогда мы готовы. Можете на нас рассчитывать. — Он вскакивает на ноги: уже не мальчик, а юноша, — юноша, готовый к борьбе.

— Понимаешь, какое дело... — пускается в объяснения старый грузчик, но студент прерывает его:

— Забастовка должна происходить в строжайшем порядке. Если это нам удастся — победим, выколотим из хозяев прибавку. Нам важно показать, что рабочие — народ дисциплинированный, и потому — никаких драк... («Жаль», — проносится в голове у Педро, охочего до потасовок.) Но вышло так, что директора Компании наняли штрейкбрехеров: завтра они выйдут на работу и сорвут нашу забастовку. Если с ними сцепятся рабочие, у полиции появится повод вмешаться. Все пойдет прахом. Вот товарищ Жоан и вспомнил про «капитанов»...

— Нужно будет разогнать «желтых»?! — радостно вскрикивает Педро. — Положитесь на нас!

Студент вспоминает спор, который разгорелся сегодня вечером в стачечном комитете: когда Жоан де Адан предложил позвать на помощь

«капитанов», многие воспротивились, многие недоверчиво усмехались, но старый грузчик твердил одно:

— Вы не знаете этих ребят. — И его неколебимая уверенность убедила Алберто и других. Решили попробовать: «попытка не пытка». Сейчас он рад, что пришел в пакгауз, и мысленно прикидывает, как лучше всего будет использовать «капитанов». Эти оборванные, полуголодные мальчишки сделают все, что потребуется. Он вспоминает, как показали себя их сверстники в Италии, в борьбе с фашистами, он вспоминает Луссо. И, улыбнувшись Педро, начинает излагать свой план: штрейкбрехеров на рассвете развезут по трем трамвайным депо. «Капитаны» должны будутделиться на три группы и любой ценой не дать предателям вывести вагоны на линии. Педро слушает его и кивает, потом поворачивается к Жоану:

— Эх, был бы жив Безногий... Если бы Кот не отвалил в Ильеус... И Профессора нет... Уж он бы мигом придумал, как нам быть... А потом нарисовал бы, как мы дрались. Он сейчас в Рио живет, — поясняет он.

— Кто? — спрашивает Алберто.

— Да это мы его Профессором прозвали, а по-настоящему-то он — Жоан Жозе. Художником стал, картины в Рио пишет.

— Неужели это он и есть?

— Он самый.

— Я-то всегда думал, что это болтовня, не верил в эту историю, думал — газетное вранье. Ты знаешь, что он тоже — наш товарищ, настоящий товарищ?

— Он всегда был настоящим товарищем! — гордо отвечает Педро.

Студент продолжает размышлять вслух, а Педро, разбудив мальчишек, сообщает им о предстоящем деле. Слова его вселяют в Алберто уверенность в том, что все пройдет успешно.

— В общем, так, — подытоживает Педро. — Забастовка — это праздник бедняков, а все бедняки — друг другу товарищи. Значит, они — наши товарищи.

— Молодец! — искренне радуется студент.

— Увидите, как мы разделаемся с предателями! — отвечает Педро. — Я пойду с первой группой, Большой Жоан — со второй, Барандаи возглавит третью. В депо муха не пролетит. Мы свое дело знаем. Вот посмотрите...

— Посмотрю, — кивнул студент. — Я буду там. Итак, в четыре утра?

— Точно.

— До завтра, товарищи! — взмахнул рукой Алберто.

«Товарищи...» Какое хорошее слово, — думает Педро. Никто уже не спит в эту ночь. «Капитаны» готовят оружие к завтрашнему сражению.

Близится рассвет, тускнеют и гаснут звезды. Но Педро все видится на небе звезда с золотистой гривой — звезда Доры, и ему становится веселей. Если бы Дора осталась жива, она тоже стала бы товарищем, настоящим товарищем... Слово это — самое прекрасное слово на свете — горит у него на губах. Он попросит Долдона, и тот сочинит об этом самбу, и какой-нибудь негр, сидя на палубе своего баркаса, споет ее однажды ночью. «Капитаны» идут как на праздник, хоть и вооружены кинжалами, ножами, дубинами. «Капитаны» идут как на праздник, повторяет про себя Педро, потому что забастовка — это праздник бедняков.

На углу Ладейра-да-Монтанья они расходятся по трем направлениям. Большой Жоан возглавляет один отряд, Барандан — другой, а третий, самый многочисленный, поступает под начало Педро Пули. Они идут на праздник, — на первый праздник, который выпал им в жизни, хотя то, что предстоит им сейчас — не детская забава. И все-таки это праздник, праздник бедняков, а значит, и их тоже.

Солнце еще не успело согреть землю. Возле депо их поджидает Алберто, и Педро, улыбаясь, поворачивается к нему.

— Идут, — говорит студент.

— Подпустим поближе, — отвечает Педро и видит на лице Алберто ответную улыбку.

А студент и вправду восхищен этими мальчишками. Он попросит, чтобы комитет разрешил ему работать с ними. Вместе они горы своротят!

Штрейкбрехеры идут плотным строем. Впереди шагает хмурый американец. Они подходят к воротам депо, и вдруг неизвестно откуда — из тьмы, из каких-то закоулков, точно легион бесов из преисподней, налетает на них орава оборванных мальчишек. Они преграждают им путь, и штрейкбрехеры останавливаются. Мальчишки падают на них как лавина, сбивают с ног приемами капоэйры. бьют палками и уже успели обратить кое-кого в бегство. Педро валит наземь американца, несколько раз с размаху ударяет его кулаком в лицо. Мальчишки наседают со всех сторон, они проворны и неуловимы, многочисленны и свирепы, как черти, вырвавшиеся из ада.

Вольный неумолчный хохот звучит в предутреннем сумраке. Сорвать забастовку не удалось.

С победой возвращаются и Жоан с Баранданом. Студент Алберто смеется так же громко и весело, как «капитаны», а потом, в пакгаузе, к вящей радости мальчишек, он говорит:

— Ну и молодцы же вы! Ну, молодцы!

— Настоящие товарищи! — добавляет грузчик Жоан де Адан.

В шелесте ветра, в стуке сердца слышится это слово Педро Пуле, музыкой звучит оно у него в ушах.

— Товарищи.

## Барабаны зовут в бой

Забастовка окончилась победой рабочих, но студент Алберто по-прежнему захаживает в пакгауз, ведет долгие разговоры с Педро. Постепенно превращает он воровскую шайку в ударный отряд.

Однажды, когда Педро, надвинув берет на глаза, посвистывая, лениво шагает по улице Чили, кто-то окликает его:

— Пуля!

Он оборачивается и видит перед собой Кота во всем его великолепии: галстук заколот жемчужиной, на мизинце — перстень, голубой костюм, лихо заломленная фетровая шляпа.

— Кот! Неужели это ты?

— Пойдем отсюда — затолкают...

Они сворачивают в тихий переулок. Кот объясняет, что только недавно приехал из Ильеуса — там удалось урвать недурной куш.

— Тебя и не узнаешь, — говорит Педро, разглядывая элегантно, надушенного господина. — А как Далва поживает?

— Спуталась с каким-то полковником: он взял ее на содержание. Да я уж с ней давно не живу. Нашел себе смугляночку посвежей...

— А где тот перстень, — помнишь, Безногий все над тобой издевался?

Кот смеется:

— Я его загнал одному полковнику: представь, выложил пять сотен и даже не поморщился.

Они разговаривают, вспоминают прошлое, смеются. Кот спрашивает о судьбе «капитанов», а на прощание говорит, что завтра уезжает в Аракажу; сахар поднимается в цене, можно будет делать дела. Педро глядит вслед нарядному красавцу и думает, что если бы Кот хоть ненадолго задержался в пакгаузе, то не пошел бы по этой дорожке, не стал бы мошенником... Студент Алберто растолковал мальчишкам то, что до него никто не мог им объяснить, то, о чем смутно догадывался Профессор.

Педро зовет революция, как звал когда-то по ночам Леденчика Бог. В душе у него звучит ее голос, он сильнее рокота моря и воя ветра, он сильнее всего на свете.

Зов ее отчетлив и внятен, как песня, долетающая с баркаса (эту самбу сочинил Вертун):

Товарищи, время настало...

Голос революции зовет Педро, заставляет сердце его биться учащенно, вселяет радость. Он поможет беднякам изменить свою судьбу. Голос революции разносится над Баией, точно эхо барабанов-атабаке на запрещенных негритянских радениях. Голос ее звучит в грохоте трамваев, которые ведут по улицам транспортники, одолевшие хозяев в забастовке. Голос ее летит над пристанями и доками, слышится в перекличке докеров, в зычных криках Жоана де Адана, в речи его отца, застреленного на митинге, в голосах матросов, лодочников, рыбаков. Голос ее — в ангольской капоэйре — игре-борьбе, которую ведут ученики Богумила, в словах падре Жозе Педро, бедного священника, с ужасом и изумлением взиравшего на горестную судьбу «капитанов». Голос ее звучал на террейро матушки Аиньи в ту ночь, когда нагрянувшая на кандомбле полиция унесла резное изображение Огуна. Голос ее звучит в пакгаузе, в колонии и в сиротском приюте, в предсмертном хрипе Безногого, кинувшегося вниз, чтобы не попасть в руки полиции, и в гудке «Восточного экспресса», пересекающего сертаны, по которым бродят люди Лампиана, отстаивая право бедняков, и в убежденности студента Алберто, требующего школ для народа и свободы — для культуры, и в смехе оборванных мальчишек с картин Профессора, дождавшихся наконец выставки на улице Чили, и в звоне гитарных струн, в печальных самбах, которые распевают беспечный Долдон и его приятели. Голос ее — это голос всех бедняков. Голос ее произносит прекрасное слово «товарищ» — слово, означающее единство и дружбу. Голос ее зовет на праздник борьбы. Он подобен веселой песенке негра и грому ритуальных барабанов на кандомбле. Голос напоминает о Доре, о бесстрашной и веселой его подружке. Голос революции зовет Педро. Так звал Леденчика голос Бога, так звал Безногого голос ненависти, так звали Вертуна просторы сертанов и лихие налеты Лампиана. Ничто не заглушит его, потому что голос этот зовет на борьбу за всех, за то, чтобы всем — всем без исключения — жилось лучше. Нет зова сильнее. Голос революции пролетает над всей Баией, возвещая праздник и скорый приход весны. Грядет весна борьбы. Голос революции рвется из груди всех голодных и обездоленных, утверждая, что со свободой не сравнится даже солнце — величайшее благо нашего мира. Как ослепительно прекрасен город в этот весенний день! Откуда это долетает голос женщины? Она поет о Баии, о древнем черном городе, о его колоколах, о его мощеных улицах.



Женский голос славит красоту Баии, и песнь Баии сливается с гимном свободы. Могущественный голос зовет Педро, — это голос баньянской бедноты, это голос свободы. Революция зовет Педро Пулю.

...Он вступил в партию в тот самый день, когда Большой Жоан нанялся матросом на ллойдовский сухогруз. Стоя на причале, Педро машет вслед товарищу, уплывающему в свой первый рейс, но это не прощальный взмах, а приветственный салют:

— До свидания, товарищ!

Теперь Педро стоит во главе ударного отряда, в который превратилась их шайка. Изменилась судьба «капитанов», все у них теперь по-другому. Они участвуют в забастовках, ходят на митинги, они борются вместе с рабочими. Борьба изменила уготованную им судьбу.

Руководители партии приказали, чтобы с «капитанами» оставался Алберто, а Педро отправился в Аракажу и создал из «Индейцев Малокейро» ударный отряд наподобие того, какой появился в Баии. А потом ему предстоит переделать судьбы других беспризорных детей по всей Бразилии.

Педро входит в пакгауз. Ночь уже опустилась на город. С палубы баркаса доносится песня. В баиянском небе, равном которому нет в целом мире, горит, затмевая блеск луны, звезда Доры — звезда с золотистой гривой. Педро входит в пакгауз, оглядывает товарищей. Рядом с ним — негритенок Барандан, ему уже исполнилось пятнадцать лет.

Педро смотрит на своих товарищей. Кто уже спит, кто занят разговором, кто покуривает. То тут, то там слышится вольный хохот. Педро подзывает их к себе, выталкивает вперед Барандана:

— Ну, ребята, вот и пришла нам пора прощаться. Я уезжаю, вы остаетесь Алберто будет к вам захаживать, слушайте его. Все слышали? Отныне вожак «капитанов песка» — Барандан.

— Попрощаемся с Педро, — говорит негритенок. — Ура в честь Педро Пули!

«Капитаны» скидывают сжатые кулаки.

— Ура! — слышит Педро их прощальный крик, пронзающий ночную тьму, заглушающий голос негра на баркасе, сотрясающий покрытый звездами небосвод, и сердце его вздрагивает. Подняты к плечу кулаки «капитанов» — они прощаются со своим атаманом и выкрикивают его имя.

Впереди всех стоит новый вожак — негритенок Барандан, но рядом с ним Педро мерещатся лица Вертуна, Безногого, Кота, Профессора,

Леденчика, Долдона, Большого Жоана, Доры, — его товарищи остаются с ним. Судьба перекроена. Их ждет иной путь. Негр на баркасе напевает сочиненную Долдоном самбу:

Мы с вами в сраженье идем...

Вскинув к плечу кулаки, приветствуют мальчишки Педро Пулю, который уходит от них, чтобы изменить жизнь всех детей Бразилии, и впереди стоит новый вожак — негритенок Барандан.

Педро видит вдалеке их фигуры. В свете луны стоят они возле старого заброшенного пакгауза и машут ему вслед. «Капитаны» поднялись на ноги, судьба их изменилась.

В эту таинственную ночь барабаны-атабаке, рокочущие на макумбах, зовут на битву.

## ...Родина и семья

Прошли годы, и пролетарские газеты — многие были запрещены властями и печатались в подпольных типографиях, — маленькие газеты, которые передавались на фабриках и заводах из рук в руки и читались при свете масляной коптилки, время от времени рассказывали о жизни и борьбе товарища Педро Пули: за ним охотились полицейские пяти штатов, разыскивая этого организатора забастовок, руководителя подпольных комитетов, непримиримого врага существующего строя.

В тот год, когда все рты были заткнуты, когда тянулась, не ведая рассвета, нескончаемая ночь террора и ужаса, эти газеты — они одни осмеливались презреть запрет — требовали освободить Педро Пулю, рабочего вожака, из тюремного заключения.

А в тот день, когда ему удалось бежать, лица тысяч людей, собравшихся у своих очагов в час убогого ужина, осветила улыбка радости. И, несмотря на террор, любой из этих людей готов был отворить дверь своего дома для Педро Пули, приютить его и спрятать от полиции, потому что революция — это родина и семья.



Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

[Другие книги серии «Литературные шедевры»](#)

---

---

enclosure

## Автор



Без творчества Жоржи Амаду уже невозможно представить не только южно — американскую, но и мировую культуру. В своих остросоциальных романах писатель талантливо развивал мифопоэтические традиции литературы «магического реализма».

Читателю предлагается один из самых известных его романов «Капитаны песка», взятых за основу фильма «Генералы песчаных карьеров».

*Большая Советская энциклопедия:*

Амаду Жоржи (Jorge Amado) (р. 10.08.1912, Ильеус, штат Баия), бразильский писатель, общественный и политический деятель. Член Бразильской компартии.

В первых романах «Какао» (1933) и «Пот» (1934) А. стремился документально показать становление классового сознания батраков и рабочих. В цикле «романов о Баие» А. использует фольклор бразильских негров для поэтизации жизни и борьбы бедняков: «Жубиаба» (1935), «Мёртвое море» (1936), «Капитаны песка» (1937).

В середине 30-х гг. принимал участие в борьбе руководимого компартией Национально-освободительного альянса; в 1936 и после установления в стране диктатуры Варгаса в 1937...38 подвергался аресту, затем эмигрировал (1941...42). Написал биографии поэта-романтика А. Кастру Алвиса и руководителя Бразильской компартии Л. К. Престеса, дилогию о кровавой борьбе плантаторов и капиталистов за землю: «Бескрайние земли» (1943, рус. пер. 1955), «Город Ильеус» (1944, рус. пер. 1948).

По возвращении в Бразилию А. в 1945 избран депутатом Национального конгресса от компартии. Роман «Красные всходы» (1946, рус. пер. 1949) — образное воплощение революционизирования бразильского крестьянства — свидетельствует об освоении метода социалистического реализма.

В 1948...52 А. жил в эмиграции во Франции и Чехословакии, участвовал в движении сторонников мира. Роман «Подполье свободы» (1952, рус. пер. 1954) изображает социальную борьбу в Бразилии 1937...41. Миру высоких мыслей и чувств, героизму простых людей Бразилии, руководимых компартией, противопоставит в романе мир алчности, наживы, насилия, разврата. В романах «Габриэла, гвоздика и корица» (1958, рус. пер. 1961) и «Дона Флор и её два мужа» (1966), сборниках повестей «Старые моряки» (1961, рус. пер. 1963) и «Пастыри ночи» (1964, рус. пер. 1966) А., вводя фольклорные и фантастические элементы, передаёт своеобразие вольнолюбивого национального характера.

В 1961 А. избран членом Бразильской академии. Член Всемирного Совета Мира.

Удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1951).

Неоднократно посещал СССР.



### **Библиография:**

- 1931 — Le pays du carnaval (O País do Carnaval) — *Страна карнавала*  
1933 — Cacao (Cacau) — *Какао*  
1934 — Suor — *Пот*  
1935 — Bahia de tous les saints (Jubiabá) — *Жубиаба*  
1936 — Mar morto — *Мертвое море*  
1937 — Capitaines des sables (Capitães da Areia) — *Капитаны песка*  
1941 — Le bateau négrier  
1942 — Le chevalier de l'espérance  
1942 — Terre violente — *Бескрайние земли*  
1944 — La terre aux fruits d'or — *Земля золотых плодов*  
1945 — L'invitation à Bahia — *Баия Всех Святых* путеводитель по улицам и тайнам города Салвадора  
1946 — Les chemins de la faim — *Красные всходы*  
1947 — O amor do soldado (pièce de théâtre) — *Любовь Кастро Алвеса*  
драма  
1954 — Les souterrains de la liberté — *Подполье свободы*  
1958 — Gabriela, girofle et cannelle (Gabriela Cravo e Canela) — *Габриэла, гвоздика и корица*

- 1961 — Les deux morts de Quinquin la Flotte  
1961 — Le vieux marin — *Старые моряки*  
1964 — Les pâtres de la nuit (Os Pastores da Noite) — *Пастыри ночи*  
сборник  
1966 — Dona Flor et ses deux maris (Dona Flor e Seus Dois Maridos) —  
*Дона Флор и два ее мужа*  
1969 — La boutique aux miracles (Tenda dos Milagres) — *Лавка чудес*  
1972 — Tereza Batista — *Тереза Батиста, уставшая воевать*  
1976 — Le chat et l'hirondelle (O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá) —  
*История любви Полосатого Кота и сеньориты ласточки* сказка  
1977 — Tieta d'Agreste — *Тиета из Агресте, или Возвращение блудной*  
*дочери*  
1979 — La bataille du Petit Trianon  
1986 — L'enfant du cacao  
1986 — La balle et le footballeur  
1984 — Tocaia Grande  
1988 — Yansan des orages  
1990 — Les terres du bout du monde  
1991 — La découverte de l'Amérique par les Turcs  
1992 — Navigation de cabotage, notes pour des mémoires que je n'écrirai  
jamais  
1994 — A Descoberta da América pelo Turcos  
1995 — O Compadre de Ogun  
1997 — O Milagre do Pássaros

---

---

|              |
|--------------|
| <b>notes</b> |
|--------------|

## Примечания

1

*Комендадор* — лицо, награжденное орденом; в Бразилии звание комендадора зачастую присваивалось или покупалось помещиками.

2

*Кабокло* — метис от брака индеанки и белого.

3

*Мать святого* — старшая жрица на кандомбле.

4

*Террейро* — место проведения церемонии афро-бразильского культа — кандомбле.

5

*Иа* — одно из верховных божеств афро-бразильского культа.

6

*Лампиан* — прозвище знаменитого бандита-кангасейро Виргулино Феррейры да Силва (1898—1938); какое-то время он возглавлял отряды безземельных крестьян и батраков, стихийно выступавших в защиту своих прав. Был убит в стычке с правительственными войсками.



7

*Сарапател* — блюдо из свиной крови и ливера.

8

*Фейжоада* — блюдо из фасоли и вяленого мяса.

9

*Шанго* — верховное божество афро-бразильского культа.

10

*Батида* — танец негров Баии.

11

*Омолу* — богиня черной оспы.

12

*Алуа* — алкогольный напиток типа браги.

13

*Оган* — жрец на ритуальной негритянской церемонии кандомбле.

14

*Огун* — бог железа и войн в афро-бразильском культе.

**15**

*Агого, атабаке* — ритуальные барабаны.

**16**

*Каатинга* — зона лесов с низкорослыми лесами и кустарниками.

**17**

*Зумби* — вождь так называемой «Республики Палмарес», созданной беглыми рабами-неграми на северо-востоке страны.